

## **Предисловие компилятора**

*Доподлинно узнав, что мой дед Трофим Павлович Зинкевич просидел по первому приговору именно в лагпункте «Усть-Утиная» на Колыме, я стал разыскивать в Интернете какую-либо информацию об этих местах. Таким образом, я обнаружил это произведение Алексея Яроцкого. Я надеюсь, что не будет никаких обид за взятые довольно обширные цитаты. Глава эта позволит читателю из первых рук узнать, как и где жили и погибали наши деды. Как в заключении менялась их психология. В какую чудовищную катастрофу они необдуманно втянули нашу родину, став террористами и революционерами. Ведь воистину, не ведали они, что творили. Правда, вожди их, начитавшись свежих политэкономических книг, верили, что они-то знают путь! Но и все до единого возгордившиеся вожди получили свой исторический урок!*

*Алексей Яроцкий и мой дед пребывали в «Усть-Утиной» в одно время. Они, возможно, были даже знакомы. Трофим Павлович как раз был из тех политзаключенных царского режима, которые пошли во время войны на фронт и разложили своими идеями воюющую армию, о которых упоминает в этой главе автор.*

*При советском режиме Трофим Зинкевич сделал стремительную параболическую карьеру, начав с должности комиссара по заготовкам, что бы это в то время не означало, продолжил Председателем Архангельского Губисполкома, а завершил потерей партийности и расстрелом по липовому обвинению.*

*Правда, Трофим попал под «гаранинский» расстрел, но имей он по первому приговору более длительный срок, он возможно и пережил бы гаранинский произвол, однако Яроцкий ясно дает нам понять, почему именно такие как он были расстреляны и какова была функция Гаранина и ему подобных на этой фабрике смерти.*

*В общем, исключительно тяжело всё это читать, но, надеюсь, полезно. Должна же быть у человечества какая-то прививка против смертных грехов или ничто его не учит? Никакой прежний опыт в мозгах не откладывается? Будем все же надеяться, что откладывается, а иначе человечеству нечего делать на Земле. Придется признать эксперимент с этой породой неудавшимся. Но в науке, отрицательный результат – тоже результат. Кто же тот ученый, который ставит этот эксперимент и рассматривает результаты?*

*Михаил Снягин*

## Алексей Яроцкий

### Глава седьмая. Гаранинский производ

В обратный путь я выехал в феврале 1938 года.

Нужно сказать, что меня особенно не беспокоили; на фоне грандиозных арестов 1937 г. наше дело «предельщиков» поблекло, о нас почти забыли, и настоящего переследствия по существу не было.

За долгие месяцы совместного сидения мы разработали систему отметок в бане, через которую проходят все заключенные, и я знал, что уже все однодельцы взяты на этап, но добавили им срок или нет, - я не знал. Особое совещание свирепствовало во всю, полномочия его были расширены, оно уже могло давать не пять лет, как в 1935 году, а все 25 лет, по лагерному - «полную катушку.»

И вот настал день, когда меня перевели в этапную камеру, каждую минуту ждал, что меня вызовут и объявят новый срок, т.е. новое постановление Особого совещания.

Видимо в такие решающие часы и разрушается психика людей. Я был на грани безумия. Мысли были такие: пять лет отбыть можно, уже полсрока прошло, но дадут 10 - это смерть, так не лучше ли рассчитаться сразу. Вот вызовет какой-нибудь чин, в прошлый раз майор НКВД, и скажет вежливо. «Садитесь, распишитесь вот здесь» и предъявит постановление. И в этот момент можно выхватить из под себя табуретку, хватить его по голове, снять пистолет пристрелив пару надзирателей, почувствовать на один миг себя человеком, увидеть как бегут и надают под твоими выстрелами эти сволочи, привыкшие издеваться над людьми, а затем сунуть дуло в рот и конец всем лагерям и тюрьмам. Я бегал по камере как волк в зоопарке и вдруг открылся волчок, просунулась рука с ручкой - «распишись вот здесь», а верхняя часть бумаги была закрыта, ладонью.

Зная, что мне терять нечего, я уже на этапе, в нецензурных выражениях от казался расписываться. На угрозы карцера я ответил еще покрепче, так как на карцер была месячная очередь, и я знал, что когда она наступит, то я буду уже а лагерях.

Тогда предъявили бумагу уже полностью, и я убедился, что это тюремная карточка, где внизу была пометка - выбыл в г. Владивосток в феврале 1938 г., и я понял, что везут опять на Колыму; после этого я спокойно расписался, так как не только не боялся Колымы, а хотел туда вернуться.

Вскоре в эту камеру поместили двух только что арестованных генералов. Фамилию одного я не помню - он был дурак, и говорил, что его завтра выпустят. Второй был командующий корпусом из Белорусского военного округа, и фамилия его была Юнг. О нем очень тепло отзывается маршал Жуков Г. в своих мемуарах. Этот Юнг был умный и говорил, что его

расстреляют. Он просил написать с этапа своей жене, чтобы она отдала детей родственникам и бежала куда глаза глядят. Я взял ее адрес, разрезал кусок мыла, надписал его внутри и из Свердловской пересылки послал ей письмо. Не знаю, дошло ли оно и ее судьбу тоже не знаю. Вскоре вызвали в пересылку, в бывшую церковь, где формировался этап. Я решил пошутить над режимом и украсть в Бутырской тюрьме кружку, которая так нужна будет в вагоне, где смог ведро с водой, а пить нечем. Поступил я очень просто обыскивали три раза, каждый раз я ставил кружку на стол прямо перед обыскивающим, а после обыска брал кружку и шел дальше.

Вообще, тюремный опыт - большое дело. У меня был бушлат и телогрейка, я их дал поддержать соседям, а сам вышел в одной рубашке и стал просить у начальника этапа одежду, говоря, что замерзну в вагоне. Он сдуру отвалил полушубок, который я потом продал в Свердловской пересылке, и целую неделю, ел хлеба вволю. При посадке в вагоны началась обычная процедура - фамилия, год рождения, статья, срок. Я сказал «Пять лет» и принимающий конвой промолчал - ну думаю, пронесло, уезжаю из Москвы без доверка. Потом я узнаю, что из нашей группы два человека получили по 10 лет по Особому совещанию, так что беспокоиться не было основания.

Дали им (Бреус Н.Е. и Хорол) эту прибавку фактически без переследствия, а просто по занимаемой до ареста должности, мол, человек был крупный и срок должен быть побольше. Уже на первом этапе стало заметно, как изменился состав заключенных. В 1936 г. превалировали бывшие члены партии - участники различных оппозиционных направлений, - в 1938 г. уже шел в массовом порядке советский обыватель, которого взяли в порядке огульных репрессий - анекдотчики, болтуны и просто случайные люди.

На одного написала жена из ревности, другого оклеветал сосед, желающий расширить жилплощадь и т.д. и т.п.

Репрессии 1937 г. далеко вышли за рамки разумного, т.е. уничтожения политических противников, старых ленинских кадров и замены партийного, советского, хозяйственного и военного аппарата.

Это еще было понятно: кадры, поднятые и воспитанные революцией, не могли быть слепым предметом личной власти и личной диктатуры, нужно было их заменить людьми без своего мнения, послушными и лично преданными.

Но в лагеря шли сотни, тысячи и даже миллионы людей, которые не подходили под перечисленные выше категории, как листья, несомые осенним ветром, летели они в пропасть, и эшелон уходил за эшелоном.

Некоторые уже тогда считали, что собственно всем ясна невиновность этих, массовым порядком изготовленных контрреволюционеров, но нужны люди на стройке пятилетки, на окраинах и больших стройках, что это, собственно вербовка рабочей силы, и поэтому нужно ехать и строить.

Это было самоутешение и самообман; как строили, и как жили в лагерях, и во что обошлась стране эта вербовка - будет видно из дальнейшего.

Этап был неинтересный, - все было знакомо по первому разу, но не встречались яркие личности и было окрашено в унылые тона, над всеми преобладало чувство подавленности и страха.

Всему бывает конец, и в июне 1938 г. попал я опять на Колыму, на прииск «Утиный», но не на левый берег Колымы, а в Южное горно-промышленное Управление, на правый берег реки. Это было гораздо ближе, прииск был старый, один из первых в Дальстрое, к нему через высокий перевал шла хорошая шоссейная дорога, выходящая на центральную трассу в пос. Спорное. Выгрузили нас из машин, покормили жиденько в столовой и повели в баню. Вел староста лагеря Яшка Теренин. Наружность его была ничем не примечательной, только глаза бы ли пустые и как будто сонные.

Я вступил с ним в разговор, спрашивая об изменениях на Колыме, он удивился, что я с ним заговорил как человек с человеком, но почему он мне ничего не сделал, до сих пор не понимаю.

На самом деле это было тем, что на лагерном языке называется «пиратом», т.е. невероятно жестоким и подлым существом. Мой хороший товарищ Мурлиев И. видел как он зимой с 1938 на 1939 г. в лагпункте «20-летия» тащил по снегу за ноги в изолятор некоего Майсурадзе.

Затем из изолятора были слышны крики, потом пошел сильный дым, когда залили водой пожар, то оказалось, что обуглились там стены, а Майсурадзе лежал животом вниз на железной койке и сильно обгорел.

Уполномоченный со слов Теренина составил акт о смерти, в том, что Майсурадзе покончил жизнь самоубийством, для чего лег животом вниз на раскаленную печь.

Все говорили, что Теренин добил его до смерти, а потом поджег, я видел много самоубийств, но такой способ удивителен, перед ним бледнеют японские самураи и даже сам Муций Сцевола.

Ходил этот Теренин с куском водопроводной трубы и особенно любил при выходе на работу кричать - «Первая, вторая» и отсчитывать, четверки ударами этой трубы.

Теренин как-то странно посмотрел на меня и чему-то очень удивился. Потом я понял, что, не зная обстановки, поступил так, как если бы в Бухенвальде, будучи заключенным, подошел я эсесовцу и спросил у него, что сегодня на завтрак.

На работу нас в этот день не послали, и я пошел осматривать лагерь, - был он обычного вида, т.е. ряды бараков и палаток, но появилась зона из проволоки и вышка с часовыми. Меня предупредили, что часовые стреляют без предупреждения, даже при подходе к проволоке, но не это поражало, а какая-то особая атмосфера подавленности, и люди почему-то все время слонялись по лагерю, как будто что-то искали. От линейки, на которой утром происходил развод, шла посыпанная песком аллея к столовой, обрамленная рядом плакатов. Когда я пригляделся к этим плакатам, то оказалось что это приказы со списками расстрелянных за контрреволюционный саботаж. Эти приказы были написаны масляной краской на фанере, т.е. надолго и всерьез и подписанные начальником УСВИТЛа полковником Гараниным [1], и тут я впервые услышал эту фамилию, кровью вписанную в историю Колымы. Одних суток было достаточно, чтобы понять и помыслить о происшедших переменах.

Заработная плата была отменена, так же как и система зачетов, платили только ничтожные «премвознаграждения.» Деньги, скопившиеся на лицевых счетах заключенных, были конфискованы в доход государства. Был введен знаменитый приказ Ежова (если память не изменяет №533), по которому питание дифференцировалось на шесть категорий от уровня производительности труда, Заключенные, систематически не выполняющие норму выработки подлежали расстрелу, как осуществляющие экономический саботаж. Оформление шло через тройку при Дальстрое упрощенным порядком. Более мелкие нарушения карались продлением срока наказания на 10 лет (т.н. Гараннинские десятки). Гуманистическая система Берзина была полностью ликвидирована, и вместо моральных и материальных стимулов были применены только страх и голод. Самого Берзина увезли в отпуск и вытащили из поезда на станции Александров под Москвой в декабре 1937 г.

Работа организовывалась так: я возил, а партнер подкайливал и наваливал в тачку, и когда я возвращался с порожней, меня уже ждала груженная тачка.

Нетрудно высчитать, что это 10-12 км в день с груженой и столько же с порожней тачкой, т.е. 20-25 км в день без выходных до конца, промывочного срока, т.е. пока не замерзнет вода. Каждый камешек на тралах мешал катить тачку, поэтому кто просыпал грунт, того ругали, а часто и били. Люди были как волки, ут ром дрались за хорошую тачку и хорошую лопату, чтобы выполнить норму. Действовал один закон - умри ты сегодня, а я завтра.

Каждые десять дней менялись карточки, по которым давали хлеб и приварок в кухне; я из кожи лез вон, напрягая последние силы, так как год в тюрьме и месячный этап отнюдь не укрепили мое здоровье. Напарником у меня был летчик по фамилии Явно, с которым я подружился в Бутырской тюрьме.

Он был в Испании и сидел за «преклонение перед фашистской техникой». т.е. сказал, что «Мессершмит 109» «лучше нашего «Ястребка И-16.»

На Колыме оказалось страшнее, чем под фашистскими пулями, и он упал духом - «дошел», как у нас говорили, и умер осенью 1938 г.

Каждый день я делал замер и записывал выработку, она была в пределах 110-120, т.е. гарантировала карточку примерно второй категории: около одного кг хлеба и приличный приварок. Но когда декада кончилась, я и мой напарник по лучили штрафные карточки. Я по неопытности пошел к начальнику лагеря, который носил звонкую фамилию Зарубайло, а звали его Александр Васильевич. Он меня выслушал и сказал, что нужно работать, а не клеветать на администрацию, что я саботажник, сволочь, фашист, слишком грамотный и не хочу работать и т.д. Вот тогда я только по-настоящему испугался и понял, что пропал. Голод сломил волю, в Бутырках я не хотел пережить второй срок и мечтал треснуть уполномоченного по голове стулом и добраться до пистолета, немного пострелять, а потом сунуть дуло в рот и уйти как человек из этой пакостной жизни. Недавно я узнал, что нашелся тогда человек, выполнивший эту программу полностью. вплоть до последнего патрона. Так сделал первый секретарь Кабардино-Балкарской республики Батал-Калмыков. Предсовнаркома Украины Любченко тоже нашел силы застрелить детей, жену и самого себя.

Но летом 38-го я перестал быть человеком. Потом, когда все осталось позади, и появилась возможность анализа, я понял, что если перестать человека кормить сразу, то он до самой смерти

обычно остается человеком, а вот если его долго держать на голодном пайке, то происходит распадение личности.

Мне пришлось видеть, как бывшие партийные работники и герои гражданской войны, революционеры в прошлом, в полном понимании этого высокого слова, вылизывали миски после уголовников, рылись в помойках, воровали друг у друга корки хлеба, селечные головки, полностью потеряв человеческое достоинство.

Помню такой случай: из хлебоборезки несли ящик с нарезанными пайками, несли под охраной четырех нарядчиков с папками в руках; один заключенный бросился, схватил пайку и стал ее пожирать, его сбили с ног, били палкой, а он ел...

Голодный психоз - это ужасная вещь, в конце войны я работал уже вольнонаемным в поселке Усть-Утиный главным бухгалтером промкомбината, получал литерный паек и был заведующим общественной столовой. Нас было вольнонаемных 14 человек, мы взяли из лагеря повара и дневального, платили за них по 30 руб. в месяц, выкупали свой паек по карточкам и коллективно питались. Заведующий столовой выбирался из непьющих людей на общественных началах, собирал деньги и, раз в месяц, отчитывался перед коллективом. Все члены коллектива, если что-нибудь доставали, то отдавали повару. Паек был, в общем, скудный, но охота и рыбная ловля пополняли меню, причем мы стреляли все, что не попадет на глаза, включая кедровок, вонючих гагар и т.д.

Вся сила была в том, что женщин не было, не было семей, никто не тащил и свою нору, и мы близко подошли к коммунизму.

Через наш поселок на прииск Утиный гнали этап с лесозаготовок и я среди заключенных узнал одного латыша, профессора-историка из бывших латышских стрелков, участника гражданской войны, краснознаменца и т.д. Я дал конвоиру пачку махорки, и он отпустил человека в мое распоряжение часа на два. Прежде всего, его нужно было покормить, но вид его был ужасен, этот стальной человек весь высох, и нужно было быть очень осторожным. Поваром был матрос из личного конвоя Троцкого бывший боцман с «Андрея Первозванного», участник штурма Зимнего дворца, по фамилии Томберг. Я сказал ему: «Дай тарелку супа, порцию каши с вареной кетой, чай и сухари. Сырого хлеба не давай.» Профессор мгновенно все это съел и попросил добавку, повар дал ему еще тарелку супа и один сухарь. После этого он стал просить еще. На мои увещевания, что больше нельзя, он сказал: «Я думал, что ты товарищ, а ты сволочь, освободился, стал главным бухгалтером и жалеешь миску каши, ты подлец и т.п. После этого, он попытался схватить кусок хлеба со стола, но забился в железных лапах Томберга.

Ужасно было видеть, во что голод превратил такого человека, но дать ему хорошо поесть означало верную смерть. Мне пришлось видеть, как умер человек, съев банку американской тушенки, и таких случаев было сколько угодно.

Кончилась эта история очень трагически. На прииске Утином (там, где я погибал в 1938 г.) заведующим пекарней был один грузин, который был мне лично обязан, а грузины тогда были крепки в дружбе и в ненависти, я написал ему записку, и просил забрать профессора в пекарню подсобным рабочим. На таких работах могли работать только уголовники, но пекарь имел

большие связи и выполнил мою просьбу. Профессор съел буханку хлеба и умер через несколько часов.

Но перенесемся назад в то время, когда я сам был на диете этого профессора. Однажды, проходя в забое около ключа «Холодный», я заметил, что экскаваторщики отмачивают соленую кету в ключе. Мне удалось украсть эту кету, я съел без хлеба и сам чуть не умер по той же причине.

Через два месяца у меня опухли ноги, а сам я выглядел не лучше трупов, показанных нам Роммом в «Обыкновенном фашизме». Всякое движение стало необыкновенно тяжелым, за 12 часов я вывозил только 15-20 тачек и падал на подъемах, уголовные меня били, и я уже не был способен драться. Правда, помню один случай: в столовой меня оттолкнул от окна хлебореза какой-то уголовник, я его ударил, он дал сдачи и сбил меня с ног, я опять на него «бросился», и опять очутился на полу, так было раза три, потом он сказал: «Бить тебя нечего, на ногах не стоишь, лучше вот возьми миску каши, а парень ты духовой». Я схватил эту кашу, и ел ее, а в миску текла кровь и слезы, так как мне было очень стыдно, на голод был сильнее. Мысль искала выход, а их было три: побег, самоубийство, саморубство.

На побег уже не было ни воли, ни сил, умирать все-таки не хотелось, осталось саморубство, т.е. превращение в калеку и избавление, таким образом, от забоя.

Но за саморубство давали 10 лет, а иногда и расстреливали, нужно было инсценировать несчастный случай.

Одно время нашу бригаду перевели на линию с вагонеточной откаткой, где нужно было подкладывать т.н. башмак под колеса и останавливать, таким образом, раскатывания вагонетки.

Можно было подложить руку под колено и отрезать пальцы, или всю кисть. Я подложил, не выдержал и выдернул руку в последний момент, и мне только сорвало ноготь с последнего пальца левой руки.

Я погружался в самый низ лагерной жизни, помощи не было ниоткуда, и мне уже говорили - недельки две, больше не протянешь.

А на разводе каждый день Зарубайло произносил речь, он зачитывал списки расстрелянных, делал комментарии, входил в подробности, придумывая какие-то идиотские предсмертные речи и т.д.

Смысл был такой - «вы враги народа и вас привезли сюда уничтожать, я это сделаю при помощи социально-близких, исправленных элементов, они помогут». Под социально-близкими, он понимал уголовников, и они помогали изо всех сил

Помню его речь о кайле, он вышел на развод с кайлом и поднял его кверху и с пафосом кричал: «Вот с этой стороны (кайло заправлялось на четыре грани) жалкая пайка, с этой - зачеты, с этой - встреча с семьей и т.п.

На самом же деле те, кто работал, умирали с голода, а те, кто никогда не работал, ни на воле, ни в лагере, те были сыты, а порой и пьяны.

Проповеди продолжались по часу, и истощенные люди должны были стоять по часу без шапок и слушать этого мерзавца. Однажды он вывел на развод двух пойманных беглецов. Один из них был работником секретариата союза писателей, другой - военный летчик. Они стояли перед строем избитые, окровавленные, искусанные овчарками, в разорванной лагерной спецовке и знали о предстоящем расстреле. Зарубайло поднялся до вершин красноречия: «Ты летчик думал улететь, но сопки высокие, не перелетишь, саботируете, не хотите работать на благо родины. Когда он говорил о социализме, о родине, о советской власти - то, как было это слушать тем, кто своими руками все это создавал и за это отдавал жизнь. Кончил он эту речь следующим приказом: «Разуть этих мерзавцев, пусть работают босиком и сотрут кожу до костей на своих чертовых пятках».

Однажды Зарубайло зашел в нашу палатку и сказал: «Вот, вы здесь собрались: ученые, инженеры, командиры и т.д., но все ваши знания ноль, а вот я не имею образования, но имею доверие советской власти, вы - ничто, а я - ваш начальник!»

На нарах сидел один человек в очках, он обратился к нему: «Вот смотрите, как злобно сверкают глаза этого вредителя. Ну, скажи, кем ты был?» Этот заключенный сказал, что он архитектор. «Ну, вот если ты архитектор, то покажи свою преданность советской власти, и постройте вышку вместе в 12 метров вышиной, в три дня». Для исполнения этой работы он дал ему человек шесть истощенных интеллигентов и партийных работников, которые никогда топора в руках не держали и за три дня, конечно, вышки не поставили.

Потом этого несчастного архитектора он водил по разводу и показывал, как не раскаявшегося вредителя, не желающего работать.

Фамилию этого архитектора я помню, это был некто Козлов, в 1939 г., когда моя судьба изменилась к лучшему, мне удалось помочь ему устроиться табельщиком в контору 5-го участка.

Он к этому времени имел цинготные язвы на ногах такого размера, что рядом с ним тяжело было сидеть от плохого запаха.

Однажды вечером он стал что-то рисовать простым пером на оберточной бумаге от взрывчатки, когда я подошел, то увидел 4 сцены из Евгения Онегина, нарисованные черными силуэтами.



Как луч солнца в ненастье, так большое, настоящее искусство поразило меня и подняло на один миг над грязью и ужасом, окружающими меня.

Я понял, кто работает рядом со мной, и стал относиться к нему с большим уважением. Козлов поправился, дожидаясь освобождения, попал в проектную организацию, потом, одно время, был главным архитектором Дальстроя, и был срочно отозван на восстановление Сталинграда.

А вот кем после смерти Сталина стал Зарубайло - я не знаю.

Чем ближе было к осени, тем сильнее увеличивалась смертность. По приказу Гаранина, все врага, осужденные по 58-ой статье, были сняты с работы по специальности и тоже заменены уголовниками. Что это были за служители медицины можно судить по тому, как на участке Юбилейном поступил один лекпом (лекарский помощник); он сидел в амбулатории и играл в карты, к нему пришел больной, но лекпом не мог оторваться от такого важного занятия и выгнал больного на мороз, а чтобы не беспокоил, то привязал его за руки и за ноги к двери снаружи.

Когда карточная игра была закончена, то душа пациента уже предстала перед престолом всевышнего.

Но, кроме подобных лекпомов, заменивших квалифицированных врачей была вольнонаемная начальница санчасти Фрида Минеевна.

Как она могла все это видеть - это дело ее совести, но заключенные, видимо, недаром прозвали кладбище на прииске Утиный очень кратко и выразительно «Фридин садок».

К этому же периоду относятся личные впечатления от полковника Гаранина. Он прибыл на прииск Утиный в июле или августе 1938 г. и вышел на развод.

Это был человек среднего или ниже среднего роста, в пограничной, зеленой фуражке и шинели с зелеными петлицами, с лицом восточного типа.

Он прошел перед строем и закричал: «Заключенные, мне говорить с вами не о чем, кто не будет выполнять норму, буду расстреливать».

Сказано это было очень кратко и ясно. На совести этого человека лежит около десяти тысяч расстрелянных по постановлению тройки Дальстроя, а сколько было убито и замучено лагерной администрацией, сколько умерло от голода, это знают лишь архивы УСВИТЛа и ГУЛАГа.

Когда его арестовали и кончился так называемый «гаранинский произвол», то была произведена генеральная проверка всего личного состава со снятием отпечатков пальцев. Тогда усиленно говорили, что эта проверка недосчитала еще несколько тысяч заключенных, уничтоженных без оформления каких бы то ни было документов.

Некто Вяткин В., один из помощников, прибывших так же, как и Татьяна Маландина. по набору, и ставший потом директором Оротуканских механоремонтных мастерских, написал книгу «Человек рождается дважды», изданную в 1964 г. в Магадане.

В этой книге он пишет о Гаранине следующее: «Рядом с Павловым (начальник Дальстроя. сменивший Берзина) шел Гаранин. Он был среднего роста, плотный, кругленький, с короткой шеей и пухлым лицом. Если бы не мутный взгляд, то его можно было бы принять за добродушного человека».

В другом месте этой книги он пишет о том, какой ужас охватывал заключенных и администрацию, когда появлялся Гаранин, и как на каждом прииске он лично сортировал личные дела заключенных, раскладывая их на две кучки. Это раскладывание означало не только снятие с работы всех специалистов и отправку их на штрафные отделения, как писал Вяткин, это была самая настоящая селекция. Так же, как в Бухенвальде, на одну сторону кладись карточки тех, кому жить, и на другую сторону тех, кто должен были умереть. Только разница была в том, что гитлеровцы смотрели на человека, - если он мог быть рабочей скотиной, то его оставляли, а если не мог, то его отправляли в печь. А Гаранин смотрел не на человека, а на личное дело, что он искал там? Прежде всего, его интересовала статья, если 58-я, то нужно загнать в забой. И пусть там медленно подыхает от голода. Но это его не всегда устраивало, нужно было установить, был ли человек в партии и с какого года.

Судьба меня столкнула с одним из технических работников такой операции В. Савельевым; это был талантливый подлец, сидевший первый раз за какое-то хищение, потом освободившийся, и получивший второй срок за убийство шофера, не выполнившего указания Савельева о подвозке воды для экскаватора. Шофера послали за водой, и он заснул на водокачке, а Савельев, будучи начальником экскаваторного парка, принужден был остановить паровой экскаватор и, найдя виновного, застрелил его в припадке административного восторга. Поскольку он убил, стремясь повысить дисциплину и производительность труда, так сказать, болея за производство, то ему дали только 4 года. Я его знал уже в амплу начальника отдела груди и зарплаты Магаданского рыбтреста, где он работал и, между прочим, очень успешно, не имея никакого образования.

Так вот, этот деятель в 1938 г. отбывал свой первый срок и, как социально близкий и к тому же грамотный, был начальником УРБ (учебно-распределительное бюро) прииска Мальдяк.

Туда приехал Гаранин и особый уполномоченный Ежова Бозан (за точность фамилии не ручаюсь), там они отсортировали 128 человек по картотеке, вызвали этого Савельева и приказали составить справки о систематическом невыполнении норм выработки этими людьми для последующего оформления на тройке как саботаж.

Многие из людей, попавших в этот список, не работали «на процентах», как тогда говорили, но Савельев не стал уточнять этот вопрос и составил справки, так как было приказано, и подписал их.

Не занимаясь никакими формальностями, они приказали главному инженеру выкопать ров, и среди белого дня стали выводить мелкими партиями по 10-15 человек и расстреливать их на борту рва.

Выводили с тряпкой во рту и связанными руками, стреляли из пистолета в затылок, и трупы сбрасывали в ров.

Принцип отбора был один - принадлежность к партии до ареста и партстаж. Гаранин не гнушался и сам ролью палача, я знаю много случаев, когда он сам стрелял, иногда просто год горячую руку.

У нас на Утинке он застрелил какого-то доцента математика, который вез неполную тачку. Гаранин это увидел и спросил его: «Что сволочь, саботирует. Ответ был достоин математика - «Моя работа прямо пропорциональна получаемому питанию».

Ужас, внушаемый Гараниным, превосходил все возможное; на том же Мальдяке после описанного расстрела он в клубе собрал вольнонаемный состав, сев в президиуме, он вынул пистолет и положил его на стол; его выступление свелось сперва к обвинению начальника лагеря в том, что лагерь превратился в гнездо саботажа. Кончил он очень выразительно: «Взять его», и тут же на глазах у всех начальника лагеря разоружили и увели.

Потом он переключился на главного механика: «Вчера я прошел по забоям, большинство механизмов стояли. Они стояли не случайно, их обслуживают вредители. «Механик организатор вредительства, взять его».

Концовка речи Гаранина была мобилизующей: «Я вас научу, как выполнять государственный план, я сломаю саботаж и вредительство» и т.д.

Главный бухгалтер и маркшейдер со страху сели на попутные машины и удрали в Магадан, думая, что там есть закон и право.

Гаранин, видимо, упивался ужасом, который он внушал; мне рассказывали такой эпизод: на одном из приисков около магазина толпился народ, так как привезли что-то дефицитное. В толпе был один бухгалтер, говоривший с заиканием, причем был он слегка выпивши. Вдруг появился Гаранин на лошади, народ бросился кто куда подальше от грозного начальника, и мгновенно кругом стало пусто, только пьяненький бухгалтер полез под магазин и застрял в дыре так, что ноги и задняя часть торчали. Увидев дрыгающие ноги этого человека, Гаранин заинтересовался и велел вытащить и представить его на ясные очи. «Ты кто такой?» «Бух-бух-бухгалтер.» «Ну и ... с тобой, что ты бухгалтер, пошел вон, мерзавец.»

Перепуганный до смерти бухгалтер бросился бежать, а трактора размесили глубокую грязь, и он упал, стал брыкаться в грязи и закричал: «Спасите, тону!». Гаранин пришел в восторг и изволил смеяться, очевидно, наслаждаясь этим эпизодом, впрочем. Савельев говорил, что Гаранин производил впечатление человека, который сам боится и внутренне раздавлен страхом: видимо он догадывался о своей собственной судьбе. Поэтому он, как и многие лагерные работники, был почти всегда в той или иной степени пьян.

От товарищей, бывших в это время на Воркуте и Дальлагере, я знаю, что точно такая же акция производилась и в других лагерях, т.е. шла гигантская чистка по всем местам заключения в масштабе операции, ставившей целью уничтожение старых членов партии.

Крепко запомнился людям полковник Гаранин, неполный год было его царствование, а нагнал он страху на долгие десятилетия: тысячи легенд и рассказов, где быть мешается с вымыслом, ходили о нем; наверное, и сейчас старики в какой-нибудь палатке геологов или в бараке дорожников долгим зимним вечером у горячей печки рассказывают их новым колымчанам.

Вот мой, ныне покойный товарищ Н.П. Погребной любил рассказывать, как в страшном 1938 году, во время произвола, на прииск, где он был десятником, приехал Гаранин и, проходя по забоям, зашел в такой, где работала бригада из лихих уголовников. «Как фамилия?» - спросил он бригадира. «Воронин», «А твоя?». «Галкин», «А твоя?». «Воробьев», и пошли одни птичьих фамилии. Когда дело дошло до Лебедева, он понял, что над ним смеются, и сказал: «Что, птички, на Колыму слетелись?» Бригадир вдруг поднялся с кайлом и стал подходить к Гаранину, крича: «Я знаю, паразитина, чего ты сюда приехал. Тебе человеческой крови хочется. Разорвал рубаху и продолжил: «На, стреляй, в рот тебя...» и т.д. Сопровождавшие Гаранина два оперативника вынули пистолеты, одно слово властелина и все было бы кончено, ведь шел с кайлом, но загадочен был поступок Гаранина: он ничего не сказал, повернулся и ушел.

Другой мой знакомый говорил, что зимой с 1937 по 1938 годы, он выписался из больницы и шел на прииск, надеясь на попутные машины, но поднялась пурга, он ослаб и стал замерзать. Вдруг подъехала большая черная легковая машина, отворились дверцы и его спросили по-суворовски: кто, куда, зачем. Он ответил, и вдруг его посадили в машину, и повезли. На перевале машина стала из-за заносов, сидевший рядом и молчавший все время начальник сказал: «Пойдем» мой знакомый повел в стоявший рядом барак дорожников. Когда они зашли, этот начальник спросил, где десятник, ему сказали, что уехал. Тогда спросил «Кто бригадир?» Один человек поднялся, начальник вынул пистолет и выстрелил ему прямо в лоб. После этого он предупредил дорожников, что если через час движение не будет открыто, то он их всех перестреляет. Все поняли, что это «сам», и бросились из барака, как говорят, «без последнего». Через час Гаранин довез заключенного до лагеря и уехал дальше.

Прошли долгие годы, отшумела война, и Колыма наполнилась совсем другим человеческим материалом: власовцы, бандеровцы, всякие вешатели и изменники, бывшие военнопленные, прошедшие все лагеря Европы, одним словом подъехали теплые ребята.

И пошли побег, банды, убийства на каждом шагу. Ехал я в это время через Аркагалинский перевал с шофером - договорником, членом партии. На самый многокилометровый перевал тяжелый ЗИС с прицепом шел медленно, и вдруг из кустов вышло два человека, один с автоматом, а другой так. Я сразу понял, что дело не чисто, но оружия нет, бежать нет времени, и я успел только сказать шоферу: «Не показывай партийной билета, сейчас убьют.» Беглец с автоматом, бывший, видимо, за главного, уставил автомат мне в живот и потребовал паспорт. Посмотрел и увидел злобный штамп 38-ой статьи о паспортном режиме, означавший право проживания с минусом по всем столицам, областным городам и т.д. Дальше произошел следующий диалог: «Что по 58-ой сидел?» «Да.» «Когда на Колыму привезли?» «В 1936 году.» «Что, при Гаранине сидел?» «Да, сидел.» И угрожающий тон сразу исчез. «Ну, пожрать что-нибудь есть?» и автомат перестал упираться в мой живот и оказался за поясом. В это время партнер этого типа по смотрел на мои американские резиновые сапоги, и предложил мне разуться. Но главарь сказал: «С кого-нибудь другого снимем, поезжай», и отпустил наши души на покаяние. Видно силен был Гаранин, если его и в 1951 году помнили. Кто бы ли эти беглецы, мы не знали, но не без оснований радовались, что дешево отделались.

Но вернемся в 1938 год. Вершиной моих несчастий был эпизод с селедкой, чуть не стоивший мне жизни.

Это уже было в августе или начале сентября этого проклятого года. Работали мы на ключе «Холодный» в открытом забое в ночную смену. Забой был оснащен прожекторами, а крутом было очень темно, недаром оленеводы этот период называют «время темных ночей.»...

С вечера, когда еще было темно, я заметил, что невдалеке стоит барак, где жили бесконвойные уголовники и около барака стоит бочка, в которой отмачивается соленая рыба.

Конвой состоял из одного бойца и носил номинальный характер, так как боец с бригадиром и десятником сидел около костра, я видел только освещенную часть забоя. Когда окончательно стемнело, я прошел к этому бараку, и, найдя вожделенную бочку, убедился, что она полна селедки иваси. Сняв с головы накомарник, я набил его полный ивасями и благополучно вернулся в забой. Нужно сказать, что иваси - это сельдь особого порядка, необычайно вкусная, жирная, нежная, почти без костей, одним словом, чудо природы, которую помнят только старики и ихтиологи, так как она загадочно вдруг появилась в конце двадцатых годов и так же вдруг исчезла в 1939-40 гг., и никто ее больше в глаза не видел. Но тогда меня не волновали тайны Тихого океана, я вместе со своим напарником пожирал ивасей прямо без хлеба и даже воды.

Умудренные опытом, мы вовремя прекратили это занятие, и напарник пошел сам за ивасями. Все прошло благополучно, и два полных накомарника лежали под бушлатом на боргу забоя.

Нужно несколько слов сказать об этом напарнике. Звали его Иваном, был он московским шофером, и в выходной день, прогуливаясь около парка культуры и отдыха, увидел изумительную, невиданную им никогда иностранную легковую машину со знаком «Юнион» на радиаторе. Он подошел, посмотрел так же как и это делается сейчас, когда какой-нибудь «Кадиллак» или белый «Ягуар» делается предметом любопытства автолюбителей. В машине сплел, шофер, и на вопрос, какая мощность мотора, сколько цилиндров и т.д. стал подробно отвечать. Они по-грузились в подробности, подняли капот и довольно долго толковали на автомобильные темы.

Потом мой напарник пришел домой и заснул сном праведника, но пробуждение было грустным.

«Пройдемте с нами, ничего брать не нужно, не волнуйтесь», а на Лубянке спросили: «Что передал шоферу посольства?», «От кого?». «Кто давал здание?» Иван ничего не мог сказать, ему стали помогать, освежили память, но ничего не добились, а для профилактики, на всякий случай, дали пять лет по Особому совещанию по литерам «ПШ», что означало «Подозрение в шпионаже.» Вот с ним я и пережил самый страшный эпизод в моей лагерной колымской Десятником был какой-то рыжий бандит Сашка, ему была скучно, и он, проходя в эту ночь по борту забоя, решил полежать на моем бушлате. Когда он на него лег, то почувствовал под ним что-то твердое, полез под бушлат и нашел накомарники с ивасями.

Отпираться было невозможно, я сказал «мой», и указал, где. Он ушел к костру, а вскоре прибежал бригадир и сказал: «Сашка на вас пишет, что подготавливаете групповой побег и запасаетесь продуктами.» Я пошел к десятнику): «Сашка что я тебе сделал?», - сказал я. «Какой побег, ну украл, жрать хочу, зачем беглеца из меня делаешь?» Он схватил кайло и с криком: «Ты, фашистская морда, еще раз говаривать пришел?» Он ударил меня по голове, но я успел заслониться левой, ру кой. Он почти перебил мне руку, она страшно болела, почернела и имела

такой страшный вид, что меня даже освободили от работы. Видя, что говорить не с кем я ушел в забой, работать не мог, так как очень болела рука. Через час пришли два бойца с винтовками и забрали меня с Иваном в лагерь. На вахте нас раздели до кальсон и отвели в изолятор, но не били, так как взяли в забое. Изолятор представлял из себя длинный барак из нештукатуренного накатника, с такими щелями, что рука проходила наружу, днем нестерпимо жалили комары, а ночью было уже очень прохладно, на нарах ничего не было. Изолятор стоял в спецзоне, так называемой подконвойной команде, где бараки на ночь запирались на замок и часовые с вышек стреляли в любого человека, который ночью появлялся между бараками. Зарубайло отдавал приказ - заключить в подконвойную команду до полного исправления - со всеми вытекающими последствиями. При Гаранине всякий побег карался расстрелом, и нам ничего не оставалось, как ждать смерти. Сидели мы долго, около недели, есть давали раз в день баланду и 400 грамм хлеба. Один раз зашел некто Гак Н., он был зав. УРБ, и почему-то велел дать нам каши; я напишу о нем отдельно, так как это был типичный представитель лагерной администрации из уголовников.

Нас должны были забрать в центральный изолятор в Оротукане, где производились расстрелы. Оправдаться тогда было невозможно, было заявление, а это по тому времени было совершенно достаточно.

Помню, что нами овладело какое-то равнодушие, даже больше отрешенность и тупая покорность судьбе.

Но все получилось иначе. Однажды мы услышали шум многих голосов и в щель увидели группу людей начальствующего вида, впереди которой шел человек в длинном кожаном пальто.

Это был большой начальник, так как он кричал на Зарубайло: «Ты зачем в тюрьме тюрьму открыл?» Мне кубики (кубометры песка) нужны, мне план нужен.» Этот человек, как потом оказалось, был начальником Южно-горно-промышленного Управления Красновым. Он схватил кувалду, и сам сбил замки с барака. Ругался он магом и, видимо, имел власть, так как Зарубайло имел вид на-шкодившего пса и что-то объяснял, но что, не было слышно. Краснов велел выпустить по одному всех из изолятора и стал сам вершить суд скорый и справедливый. Дошла очередь и до нас. Зарубайло отрекомендовал меня: «Беглец, организатор банды, заготавливал продукты с целью побега.» Я сказал, что все это неправда. Краснов, не реагируя на мои слова, обратился к начальнику охраны. «Где взял?», - а тот возьми и скажи правду. «Взял в забое.» Тогда Краснов посмотрел на меня и Ивана, худых, как скелеты, с опухшими ногами, заросших и страшных. и грубо, без злобы спросил: «Ну, а работать будешь?». Я сказал, что никогда не отказывался, и тогда последовал приговор: «Ну, пошли к такой-то матери в свою бригаду, не черта вам тут сидеть.»

Переход от ожидания смерти к жизни был очень резок, но мы не чувствовали радости - мы хотели есть.

В бригаде нас встретили неласково, никто не дал куска хлеба, десятник пообещал «довести» (довести до социализма, отсюда слово «доходяга», «дошел», «поплыл» и т.д.).

Товарищем оказался только И.Л. Салат, который дал мне пайку хлеба, я ее засунул за пазуху, но, везя тачку, потерял пайку, а потом долго искал ее в темноте.

Работать я в эту ночь не смог, так как рука опухла и почернела, помню, что отвез несколько тачек, а потом всю ночь простоял в забое. Утром я пошел к лекпому. На мое счастье прием вела сама Фрида Минеевна, она посмотрела на страшную руку, а я даже радовался (может отрезут), намазала ее какой-то мазью, перевязала и освободила меня от работы на 10 дней.

Карточку дали четвертой категории, и я немного воспрянул духом. Я не знал, что с этого дня моя судьба резко изменится, и к этому были большие основания. Как я уже говорил, дорога в столовую была украшена приказами о расстреле саботажников. И вот в первый же день, когда я пошел на работу по освобождению, я увидел, как художник КВЧ закрашивал подпись Гаранина под приказами. Сперва я не понял, а потом дошло - нет палача, его взяли, что-то меняется.

А там, далеко в Москве, был низвергнут другой обер-палач: был сперва смещен, а затем арестован и расстрелян Николай Иванович Ежов.

Сейчас я понимаю, что это была дутая, подставная фигура, которая нужна была только для того, чтобы стать кровавой собакой, уничтожить десятки и сотни тысяч людей, а потом его можно было обвинить в произволе и расстрелять. «Мавр сделал свое дело, и Мавр может уйти». Долгое время о судьбе Ежова ходили всякие легенды, имя «железного наркома» было вычеркнуто из памяти людей и только в 1973 году в мемуарах Яковлева я впервые в подцензурном издании прочитал о расстреле Ежова еще в 1938 году. Намек на это был у К. Симонова в его книге «Солдатами не рождаются». Слухов же было много, говорили, что он живет под другой фамилией, что он заключен в психиатрическую больницу в Казани и т.д., но правда о расстреле появилась в печати только через 36 лет.

Началась эра Л.П. Берии [2]. Обычно принято считать именно его злым гением Сталина, именно ему приписывают спекуляцию на подозрительности, раздувание недоверия и организацию дутых процессов (т.н. ленинградское дело, дело еврейских врачей и другие). Все это верно, но объем репрессий в 1937-1938 г.г., т.е. до прихода Берии, был во много раз выше, чем после этого. Что же касается лагерной жизни, то произошел резкий перелом. Конкретно я, видел следующее: с приходом Берии, немедленно были прекращены расстрелы за невыполнение норм выработки, прекратилась практика продления сроков наказания по решению местных троек, были разрешены работы по специальности для лиц, осужденных по 58 статье весной 1939 г.. На Колыму приехала спецкомиссия по пересмотру и снятию Гаранинских десятков, были предприняты срочные меры против смертности истощенных заключенных, а в 1939 г. в центре начался пересмотр и реабилитация лиц, осужденных в 1937 и 1938 гг.

Из речи Жданова [3] на XVIII съезде ВКП «О врагах и вражениах» многие делали выводы об исправлении перегибов, короче говоря, появилась надежда.

Тот же самый Зарубайло, который летом 1938 г. произносил речи о том, что «нас привезли сюда уничтожать», вдруг запел совершенно другим голосом, он стал говорить о пересмотре дел, о многих невинных и бросил крылатую фразу «Многие увидят своих близких, раньше, чем они думают».

Однако из моих слов не следует делать вывод о гуманизме Бериевского режима, дело обстояло иначе, появился рабочий лагерь, где человек превращается в скотину, а скотину нужно кормить и создавать минимум условий, чтобы она не сдохла.

Обстановка террора и диктатуры, уголовщины, изменялась очень медленно, и собственно, до конца не была никогда изжита, но на командных должностях стали появляться настоящие специалисты, а они стали тянуть «своих», начал действовать механизм статейной солидарности, т.е. осужденные по 58-ой статье, ненавидя уголовников, старались тянуть своих, и этот же механизм работал, конечно, в обратном направлении. Получалась любопытная картина: каждый политический был свой, уголовник или бытовик - враг. О себе лично: я кончил тем, что получил освобождение на 10 дней, помню дня три я отдыхал, а потом Зарубайло выстроил всех больных на линейку, и тех, кто мог, по его мнению, ходить и работать одной рукой, он послал в забой на активровку площадей. Как я уже писал ранее, в забое пласт золотоносных песков отрабатывался до т.н. «плотина», т.е. до скального дна ключа. Обычно в этом скалистом дне бывали трещины, а в них застревало золото, вот мы и занимались тем, что железными щетками выковыривали его из трещин. Когда эта операция кончалась, то площадь считалась окончательно отработанной, о чем составлялся акт. Занимался я этим нехитрым делом дня два, а потом произошло событие, имевшее большое значение для моей лагерной жизни, - я получил посылку.

Во время моего пребывания на переследствии в Москве, жену летом 1937 г. выслали в Красноярский край, и мы потеряли друг друга. Она жила в ссылке очень скупо, но, разыскав меня через ГУЛАГ, прислала посылку. Обычно они разворачивались лагерной администрацией из уголовников или отнимались бандитами, но тут как-то получилось так, что мне ее выдали. Полумертвый от голода человек получил такие вещи, как банку с медом, копченую колбасу, сало, какао с молоком и т.д. Таких вещей жена в ссылке купить не могла и, получая от родных посылку из Москвы, переворачивала крышку, писала новый адрес, и она шла дальше на Колыму. Я уже писал о женах декабристов, кто-нибудь напишет о наших женах, о том, что они пережили и о величии их подвига.

При Гаранине всю 58-статью выгнали и из бухгалтерии, и засела там банда воров и жуликов. Руководил этим предприятием главный бухгалтер Н.И. Бухтанов, договорник, человек мягкий, безвольный, но не плохой. Когда я пришел, то он меня послал в расчетную часть, которую возглавлял Данил Четверик, из т.н. аферистов. В те времена к этой категории лагерного мира относили специалистов по подделке аккредитивов, паспортов, дипломов, лиц. выдававших себя за тех, кем они не были и т.д. Он сунул мне пачку не протаксированных нарядов и сказал - валяй. Я в институте сдал два курса бухгалтерии, но практически не работал и с ужасом посмотрел на эту пачку. Но посидел, сообразил, что нужно расценки умножить на объем работы, подсчитать общую сумму и распределить по людям пропорционально числу отработанных дней и разрядам. Считал я на счетах и арифмометре отлично, и дело пошло. Через два часа я подал Четверику выполненную работу, он на выборку проверил, оказалось правильно, и доложил главному - из этого дохода будет толк. Тогда меня вызвал сам Бухтанов. После обычных расспросов об образовании, где работал и т.д., выяснилось, что на должность счетовода претендует экономист с высшим образованием, начальник сектора МПС, преподаватель МИИТа и научный сотрудник. Затем Буханов спросил самое главное - «А в партии вы были?» Я ответил, что не состоял, тогда он



с облегчением сказал: «Ну, слава богу, можно взять.» Из этого я понял, что прости 58-ю статью можно брать, а бывших членов партии нужно доводить в забое.

После этого я подал заявление, и меня отпустили в бригаду. Решали вопрос долго, потом я ушел, что в бухгалтерии царил дикий хаос, все лето зарплату вольнонаемным не начисляли, а давали наобум авансы; подотчетников снимали без определения результатов, покрывая огромные растраты: горючее, инструмент и материалы шли безучетно и т.д. Бухтанов ничего не мог сделать, т.к. сама бухгалтерия состояла из воров, а в забое в тоже время работали десятки бывших главных бухгалтеров и экономистов.

Он понимал, что его самого при такой постановке дела рано или поздно посядут, и пользуясь приказом Берии, потребовал от Зарубайло комплектации бухгалтерии специалистами. То же самое происходило в мехцехе, гараже, стройчасти и т.д. Зарубайло уступил, и я попал в счетоводы к тому же Даниле Четверяку.

В это время, работая в забое, я съедал около 3 кг ржаного хлеба, но все еще был худым, и меня заедали вши.

За время проверки произошел следующий случай. В это время нас стал мучить новый староста - Яша Бекботов. Это был достойный приемник Теренина утром он выходил в светло-сером коверкотовом костюме, в обед в синем бостоновом и т.д. Все это было конечно, награблено у заключенных. Для нас он придумал уборку лагеря после обеда. С ночной смены мы приходила часов в шесть утра, потом завтракали, потом спали часа два-три, потом нас будили на обед, а после обеда он спать не давал и заставлял собирать консервные банки, рыть ямы для уборных, выравнивать территорию лагеря и т.д. А в шесть нужно строиться на поверку и развод и в ночь начинать двенадцатичасовую смену.

Выходило на сон 2-3 часа в сутки при лошадиной работе, поэтому мы даже есть перестали и буквально валились с ног. Вскоре произошел такой случай. Моя бригада работала в ночную смену около самого поселка, вблизи от конторы прииска. Случилась поломка транспортера, мы выкатили тачки на центральной трассе к бункеру и заснули у тачек; те, которые работали в забое, тоже заснули, причем мгновенно. Получилась очень любопытная картина, вроде знаменитой сказки о спящей царевне. Только что гремел транспортер, катились тачки, на промприборе шуровали пробурторщики, лилась вода, фыркал мотор, подававший воду и вдруг, - мертвая тишина. Начальником прииска был некто Халитов (фамилию точно не помню), он, услышав, что промприбор остановился, вышел из конторы и пришел в забой. К его удивлению, все рабочее, кроме бригадира и десятника, спали так же крепко, как в замке спящей царевны. Он убедился в том, толкнув ногой одного откатчика, спавшего на трапе у своей тачки, тот перевернулся на спину, но продолжал спать, вся очередь откатчиков спала странным сном у своих тачек от самого бункера и до середины забоя. Начальник прииска прекрасно помнил, что 15 минут назад промприбор работал, и тачки катились, он сам слышал грохот транспортера и видел в окно работавшую бригаду. И вдруг все спят, да как спят, как опоенные каким-то зельем. Он страшно удивился и закричал на десятника - что здесь происходит? Почему все спят? Тот ответил, что слесарь ремонтирует транспортер и бригада спит, т.к. она не спала две недели. Халитов удивился,

почему не спят две недели, и ему объяснили наш распорядок дня и указали на организатора хозработ - старосту Бекботова.

Начальник вызвал Зарубайло, и приказал: Бекботова посадить в изолятор на 10 дней, а нам дать выходной и прекратить послеобеденные работы в лагере.

Не успел Бекботов отсидеть свои 10 дней, как его забрало центральное НКВД и пошел слух, что расстреляли за любопытное преступление.

Этот мерзавец был уполномоченным НКВД во Владивостоке и занимался приведением в исполнение приговоров.

Однажды он должен был расстрелять какого-то крупного дельца, который сумел подкупить его, прокурора и врача, т.е. тех, кто должен был подписать акт о его расстреле.

Этого типа отпустили, он скрылся и через некоторое время случайно в Одессе, в ресторане оказался за одним столиком с прокурором, обвинявшим его в процессе. Тот, видя воскресшего из мертвых клиента, конечно, очень удивился и, будучи неверующим, сумел его задержать, и дело раскрылось.

Бекботов отбывал срок за какое-то другое преступление, но пришлось ответить и за это. А мы лишились элегантного старосты, менявшего костюмы как английский джентльмен.

Не успел я привыкнуть к новому положению, как пришел приказ в двадцать четыре часа рассчитать всех вольнонаемных рабочих (освобожденных), и под конвоем направить их на «материк». Был объявлен аврал, и начался расчет. За весь промысловый сезон расчетные ведомости не составлялись, а как я уже говорил, выдавались авансы, лежала куча нарядов, и нужно было в этой куче найти нужного человека, выписать его заработок на расчетный лист, начислить северные надбавки, отпуска и, отняв авансы, выдать разницу на руки. Благодаря злоупотреблениям десятников, одни получали по много тысяч, но у других за целые месяцы вообще не было нарядов. Разыскать табеля, навести справки и т.к. не было времени, а у Четверика и охоты. Он поступал просто: «Что заработал мало? Не нравится работать в Дальстрое, НКВД? Нарядчик, выкини его вон, пусть он у Троцкого права качает!». А сплошь и рядом он своей огромной лапой заросшей рыжей шерстью, хватал за шиворот или бил по зубам. Бухтанов слышал эти крики, видел, что идет полный произвол, но, сидя в кабинете, молчал и не вмешивался; я работал с кассиром, подавал ведомости для подписи, а их было много, ставил галочки против фамилий и говорил сумму, кассир только отсчитывал сумму денег.

Расчет шел двое суток, день и ночь, причем он происходил на территории лагеря под охраной бойцов и палок нарядчиков.

Увольнялись несколько сот человек, и они разнесли бы бухгалтерию в клочья, но ничего не могли сделать, т.к. только набиралось 25 человек, подгоняли машину, брали под конвой, и отправляли. Был такой знатный бригадир Шаульский, руководивший какой-то ударной блатной бригадой, он получил деньги, и очень большие, и хотел выйти на зону, но попался на глаза Зарубайло.

Нужно сказать, что Шаульский был одет в прекрасный черный барнаульский полушубок и новые валенки, причем для снабжения вольнонаемного состава в магазине валенок не было, а в лагере их выдали.

Зарубайло спросил: «Где взял валенки?» Шаульский, зная о ждущей машине и полученном расчете, решил показать дух и послал грозного начальника по дальше, причем указал куда, и даже измерил расстояние очень любопытным способом, упомянув, что раком до Москвы таких начальников не переставить.

Зарубайло рявкнул: «Вахта, взять его» - и человек пять нарядчиков бросились на лихого бригадира, долго он дрался, но и нарядчики были плотными ребятами, набившими руку на избиениях, и они, конечно, с ним справились. Зарубайло сказал: «Снять казенные вещи и одеть по сезону». Кладовщик угодливо принес рваную шахтерскую галошу, и прожженный валенок и бушлат из двух кусков, т.е. один рукав он нес отдельно, а второй не имел с ним ничего общего. С Шаульского содрали валенки и полушубок, одели галошу на одну ногу и валенок на другую, потом одну половину бушлата, потом вторую, закрутили веревкой, чтоб не спадали, и кладовщик лихо отрапортовал: «Одет по сезону в четвертый срок.» После этого Шаульского вышвырнули за вахту, где он в бессильной злобе орал - пираты, бандиты, фашисты, и, схватив здоровенный камень, кинул в окно конторы, но конвойный так стукнул его прикладом по затылку, что его за ноги подтащили к машине и, раскачав, кинули в кузов.

После расчета, когда мы все выспались, я стал подсчитывать кассу и убедился, что во многих ведомостях появились подписи там, где их не было. Тот, кто это сделал, не заметил, что я ставил галочки, и я смог подсчитать, сколько взято, оказалось около 30 тыс. рублей. Я понял, что это работа Четверика и кассира, но промолчал, т.к. Бухтанов меня не защитил бы, а бандиты расправились бы люто. Стыдно писать про такие поступки, но они были, и я стал битым фраером, который не продает.

Наступила зима, причем, даже по Колымским нормам очень суровая, обмундирования не хватало, началась массовые случаи обморожения и смерти в забое. Волков был мошенник, идеалист, т.е. он не мог жить без того, чтобы не совершать какие-либо злоупотребления и мошенничества, но присвоенные незаконно ценности раздавал и пропивал с истинно русским размахом души.

Моя роль в этой теплой компании была очень скромная - я работал за всех. Работал часов по 16 в сутки, и спал прямо в конторе на столе. Сперва ко мне приглядывались, затем поняли, что я буду каменно молчать, и перестали стесняться. У Волкова была оригинальная бухгалтерия: когда кончался месяц, он посылал меня на склад, и я «снял остатки», т.е. устанавливал фактическое наличие продуктов и «вещдвовольствия» и составлял акт. Волков брал такой же акт на начало месяца, прибавлял поступление продуктов, отнимал наличие на конец месяца, и всю разницу относил в граф расходов. При таком методе учета недостача в принципе исключалась, а весь месяц со склада брали ящиками, продавали на сторону, проигрывали в карты и т.д. Под такой расход нужны были оправдательные документы, и Волков их «делал», причем, всё списывал на лагерь, настоящие документы рвал, а делал свои, подделывая на каждом пять подписей и так, что их признавали за подлинными. По ночам контора участка превращалась в притон, играло два баяна, плясали цыгане, спирт не сходил со стола, и не было только женщин. Это была лагерная мафия, в которой я был на самой низшей ступени, но был. Я работал на всю эту банду, чтоб быть сытым, и

молчал, а за это кормили. От недавнего голода не осталось следа, на кухне мне повар подавал, угодливо изгибаясь, а год назад он бил меня по очкам черпаком. Ни зоны, ни вахты для меня не существовало. Очень стыдно это писать, но факт остается фактом, около этой пайки я отъелся и пережил страшную зиму с 1938 на 1939 год. Пребывание в этой банде, не прошло для меня даром, я усвоил уголовный лексикон, даже особую дикцию манеру себя держать и внешний вид.

Больше того, только случайность и товарищи спасли и удержали меня от самого страшного, т.е. от лагерного убийства и перехода на положение «духового», т.е. человека, которая имеет дух и может убить, но об этом позже.

Не следует преувеличивать тех положительных сдвигов в жизни лагеря. которые произошли после ликвидации Гаранинского произвола, как колымской формы всесоюзной «Ежовщины.»

Теперь я понимаю, что всех, кого нужно было, тех уничтожили во время произвола, а переводить покорную рабочую силу было бесполезно, и от лагерей уничтожения пора было переходить к рабочему лагерю.

Практически лучше стали жить только те политические, которые попали в контору, мехцех, стройчасть, на транспорт и т.д. Жизнь тех, кто оставался в забое, регулировалась тем же людоедским законом о питании по выработке, что и при Ежове, только меньше стало произвола, и появились десятники и бригадиры из политических.

Но вернемся к Волкову. Постепенно в центральной бухгалтерии прииска власть стала переходить к политическим, там обосновалась целая плеяда бывших главных бухгалтеров, и они стали наводить порядок, добрались и до Волкова.

Настал день, когда его сняли, но тут же назначили прорабом шахты №21. Он сейчас же развил бурную деятельность, в его шахте работала бригада Федорова, состоящая из бывших командиров Красной армии, посаженных в 1937 году.

Это была сплоченная бригада, прошедшая через произвол 1938 г., кроме того, большую роль играл возраст и физические возможности бывших командиров. Но, как бы то ни было, бригада была крепкая и реально тянула процентов на 120-125. Волков начал с того, что купил маркшейдера, заключив с ним джентльменское соглашение о том, что маркшейдер будет писать бригаде кубаж из расчета 250% норм выработки, а весь премиальный спирт бригада будет отдавать ему. Маркшейдер был договорником и членом партии, на что он надеялся, было трудно сказать. В Дальстрое был железный порядок, разрыв между объемом добытой горной массы и маркшейдерским замером свыше 10% карался тюремным заключением, а могли применить и высшую меру. Но этот человек был настолько подвержен к спиртному, что никакие кары земные не могли его устроить.

Короче говоря, бригада Федорова стала греметь, над шахтой загорелась красная звезда, это означало лучшую шахту управления, рабочие получали баснословную прогрессивку и «красные тачки», т.е. продуктовые премии.

Но всему бывает конец, настал день, когда контура, отведенные этой шахте, были отработаны.

По управлению был подготовлен роскошный приказ, начальника шахты Белякова и прораба Волкова за трудовой подвиг из лагеря предполагалось освободить, бригадиру Федорову и рабочим бригады объявить благодарность. Снизить сроки или освободить было нельзя, т.к. вся бригада сидела по 58-й статье. Все было прекрасно, но по темным уголовным каналам было передано - через день приедет из Оротукана комиссия с главным маркшейдером управления, которая сделает инструментальный замер шахты и определит объем вынудой горной массы.

И вот, глухой ночью, в конторе собралось руководство шахты, маркшейдер, десятники, зав. аммональным складом и все конторские деятели. Объем приписки был колоссален и достигал 70-80%, т.е. в отвале числилось в два раза больше, чем было на самом деле. Рядом была другая шахта, где по отчетным данным было добыто вдвое меньше песков, а на глаз отвалы были одинаковые. Стоял вопрос как быть? Казалось, положение было безвыходное. Маркшейдер только мычал, и как говорится, не вязал лыка,

Волков взял быка за рога, он предложил не более, не менее как взорвать целики, т.е. невыбранные столбы породы в лавах, и «посадить» шахту. Любой горняк, попавший в шахту, с первого взгляда сказал бы, что шахта взорвана, но расчет был на то, чтобы не завалить ее ствола, но привести в такой вид, чтобы было страшно зайти. Подрывники были все уголовниками, заведующий аммоналкой был старый уголовник, соловчанин, по фамилии Лобза, все рычаги были в руках мафии и в ту же ночь целики были взорваны самим Лобзой. Утром подъехала комиссия на двух легковых машинах, и проследовала в шахту № 21. Там «руководство» шахты ждало ее в полном составе, Волков жестами радушного хозяина пригласил пройти в уклонку, и открыл ворота в шахту (ворота были сделаны так, чтобы теплый воздух не проходил летом в шахту, пройденную в вечной мерзлоте, и не вызывал бы обвалы).

Но когда комиссия вошла за ним, то услышала зловещий шорох отпадения мелких камней с кровли. Каждому стало ясно, шахта садится, и может в любой момент завалить всех, кто туда пройдет.

Расчет оказался математически верен, Волков шел по банку: сыпется уже дня три, я вчера обошел всю шахту, проверил, нет ли забытого оборудования.

Но желающих быть погребенными под тридцатиметровым слоем мерзлой гальки не оказалось. Кто-то подал спасительную мысль, замерить отвал и, применив коэффициент разрыхления, перейти к объему шахты. Пошли на отвал, захватив нивелиры, но Волков и тут оказался на высоте. Он свалил отвал на косогор, в котором была большая котловина, о чем предусмотрительно составил акт. Короче говоря, отвал лежал на косогоре, и замерить его было нельзя. Комиссия махнула рукой на это темное дело и уехала ни с чем.

Приказ подписали, Волкова торжественно освободили из лагеря, но видно судьба была против него. Уже будучи вольным, он поехал на Усть-Утиную, захотел покататься на лодке, но эта речка оказалась иного нрава, чем Москва-река у Воробьевых гор, и великолепный аферист утонул в нескольких метрах от берега.

Осталась неутешная вдова в Москве, дача в Мамонтовке, тридцать тысяч на книжке и верные по гроб благодарные друзья-жулики.

На участке «Речка» я встретил одного из работников той бригады, в которой работал в забое на прииске «8 Марта» летом 1936 года. Это был скромный и молчаливый человек, ничем не выделявшийся на фоне импонирующих личностей, окончивших Институт красной профессуры, руководящих партийных и хозяйственных работников и т.д.

Он тогда молчал, а в 1939 г. заговорил. Оказывается, этот молчаливый товарищ был оперуполномоченным на Лубянке и ездил по квартирам с ордерами на арест и доставлял каждую ночь новое пополнение в т.н. собачники, т.е. подвозил туда, куда свозят всех вновь арестованных. Термин «собачник» очень удачен, т.к. правильно отражает душевное состояние арестованного человека, обалдевшего, и с ужасом понимающего, что дверца захлопнулась навсегда. «Собачник» действительно напоминал клетку с пойманными собаками. Только что была для них свобода, можно было подраться с любой собакой, а может быть и познакомиться с благосклонной особой женского пола, украсть вкусную кость, просто бежать, задравши хвост кольцом, и радоваться жизни, и вдруг - решетка и мрачное предчувствие утраты собственной жизни.

Так вот, мой приятель каждую ночь пополнял «собачник» на Лубянке. Казалось бы, брать «врагов народа», шпионов, диверсантов и т.д.. занятие не простое, может быть окажут сопротивление, поднимут стрельбу и т.д. Но практика 1935-1938 гг. не знала таких инцидентов, «страшные» преступники, как бараны подставляли голову и попарно садились в «черный ворон».

Обычно, когда человеку предъявляли ордер на арест, то его охватывал шок, но однажды этому уполномоченному попался необыкновенный клиент. Во-первых, он три раза не заставал его дома, потом, наконец, застал, вместо страха и шоковой тупой потрясенности оказался прекрасно владеющий собой человек, шутивший и смеявшийся и во время ареста, и по дороге на Лубянку. Через несколько дней, мой колымский знакомый сидел со своим коллегой в ресторане, и они вспомнили этого необычного «троцкиста», вспомнили и решили посетить его в тюрьме, а так как они каждый день возили туда людей, то сделать это было нетрудно. Зашли, пошутили, убедились в том, что этот человек и на Лубянке смеется, передали пачку «Казбека» и ушли. Но в системе «органов» все следят за всеми, и это невинное путешествие окончилось плохо, то есть 5-тью годами по Особому совещанию. Никто не верил, что зашли просто так. Вот этот человек и сообщил мне новость, которая потрясла меня до глубины души. Разумеется, я, прежде всего, спросил о судьбе товарищей по бригаде. Они все остались на Серпантинке. Я знал, что под перевалом, который вел в долину, где находился управленческий поселок Северно-горно-промышленного управления Верхний Хаттыннах, находился поселок дорожников. Та же автомобильная дорога взбиралась на перевал серпантинами и отсюда название - «Серпантинка.» **Оказывается, во время Гаранинского произвола на этом поселке был организован штрафной лагерь, и именно там были зимой с 1937 на 1938 г. произведены массовые расстрелы. Вся моя бригада, вместе с бывшим уполномоченным, угодила на Серпантинку. Туда попали и ортодоксы, и сталинцы, и те, кто протестовал и объявлял голодовки, и те, кто подписывал приветственные телеграммы по поводу процесса Каменева-Зиновьева.**

Сейчас они лежат там, в длинных рвах все вместе, причем думаю, что совсем целые, так как это место находится под крутой и высокой сопкой на северном склоне, и солнце там бывает только часть суток. Мне пришлось участвовать в массовой эксгумации в 1942 году на поселке Усть-Утиная, когда нужно было найти какого-то подданного США, и подняли все кладбище подряд.

Могилы там были глубокие, метра 1,5-2, и в каждой было по 7-8 человек без гробов, навалом. Могилы заготавливались впрок летом, зимой туда клали трупы и засыпали снегом, а весной, когда оттаивала земля, то уже засыпали как следует. Весенняя вода попадала в могилу и там замерзала, так как стены и пол могилы были из вечной мерзлоты. Получалась линза геологического льда с трупами внутри, которая, будучи изолирована сверху слоем земли, могла лежать неограниченное количество лет. Достаточно сказать, что этого американца, оказавшегося в самом низу, выковыривали из льда ножами, потом положили в гроб, обложили льдом и отправили в Магадан. На Серпантинке местность как раз такого типа и, очевидно, под землей там произошло то же самое.

В конце шестидесятых годов ко мне в Кишинев приехал некто Маркелов Д., продолжавший работать на Колыме. Он сказал, что сопку над бывшей Серпантинкой, здание которой разобрали еще в 1939 г., взорвали на выброс на то место, где похоронено несколько тысяч человек, и потом бульдозер целое лето разравнивал грунт, чтобы кладбище похоронить поглубже.

Мои товарищи попали в эту штрафную и окончили там свои дни. Я спросил, как все это произошло, он сказал, что ни суда, ни следствия не было, вызывали ночью человек по 10-20, на дворе начинал работать трактор без глушителя, и выстрелы не были слышны.

О принципе «отбора», так сказать, селекции, я уже писал выше, когда говорил о Гаранине, здесь же ничего не решали, а исполняли. Люди были так запуганы, что на вызов на расстрел выскакивали в одном валенке. Эта фраза тогда произвела на меня большое впечатление, а сейчас звучит в моем сознании еще сильнее.

Что значит «в одном валенке»? Это значит: такой страх перед надзирателем, перед начальством, перед страшной властью «органов», что заключенный боится, пресмыкается, дрожит, и до того потерял человеческое достоинство, что спешит сам стать к стенке.

Как могло получиться, что люди, совершившие величайшую революцию, победившие в гражданской войне и занимавшие руководящие посты в партийном, государственном и хозяйственном аппарате, выскакивали на расстрел в одном валенке?

Сотни книг написаны о разложении и гибели белой эмиграции за границей. Особенно запомнились мне слова Вересаева в его романе «В тупике», где он говорит о том, во что превратились вчерашние аристократы. «Пройдет еще полгода - и вся многовековая культура сползет с нее (княгини Анджоской), как румяна под дождем, станет она вульгарной, лживой, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, - такую, каких она раньше презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество».

Что может быть страшнее Булгаковского «Бега»; я лишен был возможности прочитать это произведение, так как оно у нас не было нигде напечатано, но видел его кинофильм. Ведь там, со всей силой Булгаковского гения, показан путь превращения интеллигентной, умной, душевно чистой женщины в грязную проститутку, а бывшего генерала в посетителя тараканьих бегов. Короче говоря, эта тема падения, растления и распада русской белой эмиграции отработана в советской литературе достаточно хорошо.

Но вот как погибли большевики в Сталинских лагерях, об этом у нас не написано. Как это было, какова технология смерти, и какие психологические предпосылки ей предшествовали? Почему эти люди погибли такой жалкой смертью, почему протесты, которых никто не слышал, и голодовки, о которых никто не узнал, были крайней мерой. Я не знаю в ту эпоху ни одного случая или даже попытки вооруженного восстания, разоружения конвоя и тому подобных актов. Были побеги, но и те были пассивной формой протеста. Один из пойманных беглецов на мой вопрос о причине побега ответил: «Хотел спокойно, без издевательств, умереть на свободе».

Вот после войны пошел другой заключенный. Был такой случай. Мимо нашего поселка гнали этап, и был там человек, который хромал и все время отставал. Конвоир его подгонял, и стал толкать прикладом, причем не избивал, а именно просто толкал. Этот заключенный сказал: «Не толкай меня, я Берлин брал» - и когда его еще раз толкнули, то обернулся, выхватил винтовку из рук у конвоира и проломил ему череп прикладом. После этого он взял две запасных обоймы и ушел на сопку. А на вершинах сопки бывают т.н. «останцы», т.е. не сглаженные временем остатки наиболее крепких горных пород, которые торчат из земли как руины средневековых замков, и тем удобны для обороны. Вот в таких останцах этот бывший фронтовик засел и принял свой последний бой. Его прижали к земле огнем из двух ручных пулеметов и пустили собак: он застрелил трех собак, и потом из своих 15 патронов ухитрился убить одного вохровца и ранить двоих. Когда его взяли, то он умирал, а один боец, участвовавший в этой операции, рассказывал, что он имел три или четыре ранения, но был «такой злой», что зубами вырывал вату из телогрейки, затыкал раны и стрелял до последнего. Это был бессмысленный акт, никуда он от опергруппы с собаками уйти не мог, тем более хромой от старой фронтовой раны, но у человека было сознание солдатской чести; он не позволил себя оскорблять, и умер в неравном бою как мужчина и личность.

Кто он был, не знаю, за что попал на Колыму, тоже не знаю, но запомнил этот эпизод. Но мои коллеги и я сам в 1937 г. не разоружали конвой и не проламывали ему голову прикладами. Что же мы стали все подлецами и трусами? Некоторые ими были, но основная масса, в особенности бывшие члены партии, были людьми, которые в фашистских лагерях немедленно организовали бы подпольное движение сопротивления и если бы и погибли, то как революционеры. Почему же такая жалкая смерть - «в одном валенке»?

Это финиш, конец пути, в начале которого лежали страх перед арестом, публичные разоблачения вчерашних друзей, побег при следствии, подлые лживые показания на себя и на товарищей, стремление уже там, за страшной чертой, по ту сторону советской жизни, показать, что я свой, что сижу по недоразумению, и так до последнего окрика и последнего удара.

Были исключения, были люди понимавшие ход истории и шедшие навстречу гибели с поднятой головой, но и те не смогли переступить черту вооруженного сопротивления против своей власти. Я имею в виду людей, которые считали 1937 год государственным переворотом, заменившим весь аппарат управления страной, как партийный, так и советский, военный и хозяйственный.

Вместо ленинской партии, бывшей союзом единомышленников, возникла партия, ставшая аппаратом для осуществления воли вождя, и основным критерием партийности стала личная преданность вождю.



Л. Фейхтвангер в своей книге «Москва 1937», понял психологию людей той эпохи, описав процесс Пятакова [4] и Радека [5] и подчеркнув своеобразное сотрудничество подсудимых и прокуратуры.

Мне могут сказать, что людьми двигала вера в справедливость, вера в то что «братья меч вам отдадут», что растает под солнцем правды темная ночь сталинской диктатуры, и будет все «как при Ленине».

Действительно, многие так думали, и я сам наивно считал, что все дело в Сталине, вот он умрет или его кто-нибудь убьет, и сразу все станет на свое место.

С такой идеологией за винтовку не схватишься; таким образом, с одной стороны я видел чудовищный распад человеческой личности, с другой, глубокую чистую в своей основе веру в справедливость социалистического строя и в конечное торжество правды.

Вот переплетением в наших умах этих двух начал и можно объяснить, казалось бы, необъяснимое поведение обреченных людей в 1937 и в 1938 гг.

О степени унижения и распада личности старых членов партии, о том, как под катками лагеря ломалась человеческая личность, говорит судьба Н.Л. Безуглого.

Во время моего пребывания на участке «Речка», однажды, в лагерной столовой со мной рядом за столом оказался человек лет 50-десяти, с обмороженными щеками довольно отвратительного вида, так как сквозь обмороженное мясо прорастали рыже-седые волосы. Это был типичный «доходяга» из интеллигентов. Позже, когда он попал в баню в качестве прачки, я узнал, что его зовут Николай Леонтьевич Безуглый.

Он был членом партии с 1918 года, имел два высших образования, и работал в Киеве директором Института переливания крови.

В 1937 г. он подписал показания о шпионаже в пользу Польши, так как ему подогревали паяльной лампой половые органы, и считал, что он погиб навеки, а между тем судьба и великая женская любовь вскоре вытянули его из лагеря. Будучи человеком уже не молодым и абсолютно не приспособленным к суровому лагерному климату, Безуглый, конечно, «дошел» бы и погиб на штрафном пайке, но каким-то образом попал в баню, вернее, в приемную при бане и стал прачкой.

Для бывшего директора исследовательского института это была карьера. Стирать черное, вонючее лагерное белье было, конечно, не особенно приятно, но заведующий прачечной, бывший кулак Кравченко был неплохим мужиком, и кормил своих прачек и банщиков на основе принципов первобытного родоплеменного общества, то есть, по лагерному «жрал вместе». Кроме того, у Безуглого был голос и слух, и он, видимо, еще со студенческих лет знал много песен.

Вот, мой дорогой читатель, сидящий при электрическом свете, в современной теплой и удобной квартире, окруженный комфортом и всеми благами цивилизации, - постарайтесь представить себе занесенную полутораметровым снегом долину с чернеющими свежими разработками, «разрезами», где шла зимняя вскрыша торфов, лагерь, обнесенный колючей проволокой и вышками по углам, и несколько рубленых домиков за зоной.

Радио не было, газету, и то местную, имел только начальник, книг и библиотеки никакой, кино не было, была одна работа. А кругом белые сопки и бесконечные просторы богом и людьми проклятой Колымы. Лунными ночами, правда, было очень красиво, но это была какая-то чужепланетная красота, и игра света на бесконечных, снежных вершинах напоминала романы Уэльса. Казалось, жить в этом «белом безмолвии» было невозможно, но жизнь шла, но какая?

В то время (1939 г.) еще очень мала была прослойка бывших з/к, а договорники-специалисты работали и жили на центральном «стане» прииска. На участке были одни з/к и охрана.

Короткий зимний день давал вечерний досуг, и как же его проводили. В ходу были «певуны» и «рассказчики», т.е., примерно культработа была на уровне Киевской Руси. Вот Безуглый и стал певцом. В закопченной, подмытой рекой, бане, у раскаленной до красна печки, при свете самодельной коптилки он пел, и его собиралась слушать лагослуга, то есть з/к, работающие в административном аппарате лагеря. Был там такой Николай Гак из ростовских аферистов, наглый и душевно похабный уголовник.

Он, например, сожительствовал с овчаркой, которая неотступно ходила с ним по лагерю, но нашлись люди, засунувшие в половые органы этой собаки взрыватель со шнуром, разорвавшие в клочья эту несчастную собаку.

Вот этот милый товарищ отнял у Безуглого фотографию жены, которая была красавицей, и была намного моложе его.

Эта фотография была святыней для несчастного старика, и Гак носил ее с собой и каждый раз, под хохот других себе подобных, рассказывал Безуглому, как она ему изменяет, причем пускался в подробности и детали, развлекаясь таким образом.

Нужно сказать, что Гак был подлец с соображением, он, например, придумал не складывать покойников в штабель, а стоя приставлять их к стенам бывшего свинарника, куда их складывали, так как рыть каждый раз могилы при 50-десяти градусах мороза было не просто.

Я как-то зашел в этот свинарник и потом долго не мог прийти в себя. В большом полутемном помещении с низким потолком, по стенам стояли; совершенно голые мерзлые трупы, каждый из них хранил то выражение, в котором застала его смерть. Смерть была без прикрас, без закрытия век, без всего того, что делают с покойником, чтобы придать ему вид неземного спокойствия, отрешенности и умиротворения. Как говорится - «без ладана, без церковного пения, без всего, чем могила крепка».

Я не выдержал, и ушел, а заходил не зря. Был на участке один з/к из бывших комиссаров гражданской войны, с немецко-еврейской фамилией вроде Фельдмана, который занимался тем, что шутил со смертью.

В шахте, когда бурильщик кончает бурить бурки, в забой приходит подрывник, заталкивает в бурки пакеты с аммоналом, закладывает взрыватель и замазывает отверстие глиной, оставляя свободный конец бикфордова шнура. Затем берет контрольный кусок шнура, ровно такой длины, как первый шнур, зажигает его и держит зажатым в левом кулаке. Потом открывает все шпур

забоя, когда же огонь в контрольном шнуре дойдет до кулака, то нужно убегать в поперечный штрек, так как до взрыва остается ровно столько времени, сколько горит шнур длиной в ширину ладони.

В большинстве случаев отладку делали быстрее, и был интервал между взрывом и уходом подрывника. Вот тут и появлялся Фельдман, он спокойно подходил к горящим шнурам и закуривал от них махорочную самокрутку, после этого он уходил в штрек, и грохал взрыв, забивая шахту вонючим буро-зеленым дымом.

Он играл со смертью и, видимо, искал ее. Однажды он ошибся на одну секунду и попал под взрыв, большой камень ударил его по затылку и размозжил череп. Его долго не убрали и пока конвой строил бригаду у шахты, я смотрел на него с чувством глубокою уважения и думал, что он прожил настоящую жизнь, а такой, как эта - не захотел.

Вот я и зашел как-то в свинарник посмотреть на него и проститься с ним. Вскоре произошел такой случай; по лагерным порядкам с каждого умершего з/к снимаются оттиски пальцев и посылаются в УСВИТЛ в Магадан, а один экземпляр в ГУЛАГ в Москву. Там они сличаются с теми оттисками, которые сняты с живого после ареста, и тогда, после этого, человека считают списанным с личного состава.

Поскольку этот Фельдман долго лежал у шахты и замерз, то оттиски получились плохие и их вернули. Нужно было оттаять Фельдмана и сделать оттиски с талого трупа. Эту приятную процедуру Гак поручил Безуглому и некоему Байсаитову - бывшему директору техникума из Алма-Аты. Они должны были вдвоем притащить труп Фельдмана в баню и привязать его к водогрейному котлу (бойлеру), чтобы он оттаял.

Они притащили Фельдмана, привязали его веревками к котлу, и Байсаитов остался топить. Фельдман замерз лежа, и поэтому висел на веревках с гордо поднятой головой. Через некоторое время шея оттаяла, и голова склонилась на грудь к величайшему ужасу Байсаитова, прибежавшему к Гаку с криком: «Комиссар ожил, пусть меня берет шайтан, не пойду туда». Гак не боялся ни шайтана, ни оживших комиссаров и, сняв оттиски с пальцев, велел вновь водворить Фельдмана обратно, но недолго он стоял в свинарнике.

Зарубайло сняли, и приехал новый начальник, производ кончился, и нужно было убрать этот стоячий морг. Забурили котлован, взорвали, и ночью были произведены похороны примерно 80-десяти обитателей старого свинарника. Ввиду того, что ломы работали выходными и только в одну смену, то Гак мобилизовал того же Байсаитова и Безуглова, и они запряглись в конские дровни и возили трупы метров за 300 от лагеря в котлован. Когда перевезли всех, то Гак пересчитал их, и вдруг оказалось что одного не хватает. Тогда он обратился к Безуглому: «Вот ты, какая сволочь, в целях контрреволюционной агитации спрятал одного государственного покойника, и толкаешь меня на преступление. В акте было 80, и будет 80 похоронено. Ложись, сволочь!» Безуглый лег. Гак скомандовал: «Засыпать», и когда торчала только голова, отпустил профессора, но приказал найти недостающий труп и притащить его.

Дело объяснялось просто: они кляли трупы навалом, и один труп, свалился и лежал на дороге. Безуглый его притащил, могилу засыпали, и все было кончено. Вот, представьте себе колымскую зимнюю ночь, туман от нечеловеческого мороза, скрипящий снег, и почтенного

профессора (так его называли, а профессором он не был), который за ноги тащит по снегу мерзлый труп, под хохот распоясавшегося садиста.

Так прошла зима, а в апреле 1939 г. произошло невероятное. Пришла реабилитация на Безуглова, он ее не ждал, заявлений не подавал, считая, что его показания закрыли над ним гробовую крышку.

Все сделала та самая жена, фотография которой не давала покоя Гаку. Как она этого добилась - не знаю, но факт остается фактом, это был первый случай, за ним последовали многие, но впечатление было потрясающим, и лагерная администрация, и вольнонаемные специалисты и уголовники, все смотрели на нас, как на обреченных и будущих покойников.

Н.И. Ежов издал приказ: всем политическим, у кого кончается срок, оформлять новый. Уполномоченные прямо вызывали и говорили: «Подпиши, что ты занимался шпионажем, антисоветской агитацией и т.д. Ты же знаешь про приказ, зачем тебя мучить, давай подписывай сразу».

Этот «милый» приказ перестал действовать с приходом Берии, была реабилитация - этого никто не ждал.

И тот же самый Гак должен был пойти в баню и объявить Безуглому, что он снова человек и советский гражданин, отдать ему фотографию жены, прекратить издевательства и называть его «Гражданин Безуглый». Ведь Безуглый становился теперь вольнонаемным, а Гак, при всей своей лагерной власти, только з/к, з/к и мерзавец.

Как Безуглого не хватил инфаркт, я не знаю, но говорят, что он перескочил через печь, когда ему объявили Постановление Верховной прокуратуры.

Оказался порядочным человеком: когда он вернулся в Киев, ему выдали зарплату за все время пребывания под следствием в лагере, вернули квартиру, восстановили в партии, то он же нашел время разыскать жену сосланного кулака Кравченко, купил ей корову, помог деньгами и т.д.

Кравченко он прислал письмо, где написал, что его фотографию поставил на письменный стол и сказал жене: «Этот человек спас мне жизнь».

Когда Безуглый уезжал, то я спросил его, скажет ли он кому-нибудь о пережитом на Колыме. Он сказал: «Никому, даже жене!..»

Этим сказано все - значит, он напуган так, что будет молчать до смерти. Даже мысли не было о протесте, о несправедливости, о судьбе других. Он даже не хотел думать об этом. Значит, это был обыватель с партбилетом с 1918 года, но ведь он активно участвовал в революции в Киеве, был под расстрелом, а значит, был другим, видимо, страшна была гаранинская школа, она вытрясла душу из революционера, и он стал другим человеком.

Начальником участка «Речка» был один из пионеров освоения Колымы - Швецов, очень странный человек, тративший две трети своей личной, огромной зарплаты на питание забойщиков, очень боявшийся начальства, имевший орден Ленина и очень богатый. Правда, богатство его было странное, заключалось оно в сберкнижке, на которой было 300 тысяч рублей, а

так кроме чудного английского ружья марки «Голанд-Голанд» у него буквально ничего не было - одни ватные брюки и телогрейка.

Я о нем уже писал в «Легенде о Колыме.» Он вставал на развод, т.е. к 7-ми часам утра, а ложился в час или два ночи после сдачи суточной добычи золота фельдъегерю. Поэтому днем он спал часа два-три; и вот однажды ярким летним днем, я, случайно взглянув на дорогу, увидел две легковые автомашины, идущие к поселку.

Забежав в комнату, где Швецов спал одетым, и даже в сапогах, я крикнул: «Начальство на двух легковушках!» Александр Михайлович вскочил и выбежал на крыльцо.

Первая мысль - как работают промприборы и, о ужас, все пять промприборов участка стояли, и на высоких бутарах промприборщики мирно спали, и даже загорали, сняв гимнастерки.

Вид заключенного, загорающего на солнце на Колыме, как в Крыму, мог серьезно повредить здоровью начальства.

А.М. закричал: «Зарезали, сволочи» и послал меня на ближайший, самый большой промприбор, где десятником был недоучившийся кинорежиссер А. Назаров. Промприбор простаивал из-за неисправности мотора ЧТЗ, подававшего воду на бутару.

Подбежав к Назарову, я поднял тревогу, и Назаров тряхнул стариной «Включите рубильник», и транспортер потащил кверху незагруженную ленту, «Гони пустые тачки, бегом, быстро, промывальщики, шуруй» - и дело закипело.

Издали все выглядело эффектно - откатчики бегом подавали тачки к бункеру, транспортер гремел, пробурторщики скребками протаскивали несуществующие пески, а начальство, во главе со Швецовым спускались с горы по дороге.

Не было только одного - воды, и механики с невероятными проклятиями, вручную заводили проклятый ЧТЗ.

Я с ужасом сказал Назарову: «Ведь сейчас увидят - бутара сухая.» «Бараны, ничего не понимают!», но все-таки дал команд, поливать колоду ведрами и держал руку на рубильнике, с тем, чтобы, когда подойдут вплотную, выключить ток и сказать: вот, мол, только сейчас промприбор стал.

Но выручил слепой случай, проклятый ЧТЗ зашипел и пошел постукивать, выбрасывая сизый дымок, вода хлынула в бутару, и промприбор начал работать по-настоящему.

Начальство подошло, посмотрело, и гроза миновала. Вечером Назаров получил литр спирта и начальственное «Спасибо, артист, выручил».

Вот этому странному начальнику я сказал про реабилитацию Безуглова. Ответ мне запомнился: «Жалко, не знал, что он с 18-го года в партии! Сгноил бы на шахте, выстроили сами для себя!». Я его понял так, что старые большевики выстроили лагерь для собственного употребления. А из первой части этого предложения были видны и политические взгляды самого Швецова.

Мне стало понятно, почему он сносил оскорбления и публичную ругань главного инженера прииска, карьериста и большого подлеца, по фамилии Пруна, видимо, у него были большие хвосты, если он сам добровольно сослал себя на Колыму.

В дальнейшем, я от него услышал интересное высказывание: «Нельзя здесь жить, дорогу выстроили, машины ходят, месткомы завели, парткомы открылись, склоки разводятся. Порядочный человек должен жить там, где ездят на собаках и оленях, там воздух чище». В соответствии с этой доктриной, заимствованной прямо от Фенимора Купера, он перебрался в геологоразведку на реку Индигирку, куда автомашины дошли только в конце сороковых годов. Кто он такой был - я не знаю, подозреваю, что один из капелевских офицеров, скрывающийся из края света, но судьба была к нему милостива, он дожил до пятидесятих годов и занял прочно позицию первооткрывателя, пионера и первопроходца, даже статью в «Магаданской Правде» написал об основании города Магадана. Тип он был любопытный, прежде всего, полное презрение к деньгам, гуманное отношение к заключенным, страх перед великими мира сего, и отвращение и скрытая враждебность к социалистическому обществу, которое он мог терпеть только в варианте геологоразведочных партий в глухой тайге и полном отрыве от цивилизации.

Весной 1939 г. последовала «царская милость» - всех приговоренных в 1937 г. к тюремному заключению, без изменения срока направили в лагерь. Казалось бы, это гуманный жест, так как в принципе лагерь лучше тюрьмы, потому, что там люди заняты производительным трудом и относительно свободны. Видимо, была какая-то добавочная инструкция, так как для «тюзаксов» была выстроена спецзона, которая тщательно охранялась, и работали они отдельно. Короче говоря, они были полностью изолированы от общего лагеря.

На наш участок «Речка» привезли тюзаксов человек 300. Когда их выводили на работу, то я узнал трех знакомых по Министерству путей сообщения в Москве. Я пытался передать им передачу, но ничего нельзя было сделать, пришлось оставлять в забое, где они работали, с запиской - кому. Вскоре механизм питания по выработке начал работать, люди все были пожилые или среднего возраста, интеллигенты, партийные работники и т.д., лошадиные нормы они не нарабатывали и скатились на штрафную, в середине лета они начали умирать от голода, и к осени их осталось человек 50-60.

А поздней осенью и зимой пачками пошли реабилитации, ставшие посмертными. Нужно несколько слов сказать об этих реабилитациях. Начались они в 1939 г., шли весь 1940 г., и кончились 22 июня 1941 г. После войны реабилитации уже не возобновлялись до самой смерти Сталина.

Все же нужно сказать, что кое-что было сделано, начали с большесрочников, я не видел ни одного реабилитированного со сроком меньше, чем 15 лет. Массового характера этот процесс не носил, но надежда появилась, вдруг и до меня дойдет. Весь 1939 г. работала правительственная комиссия по снятию «гаранинских сроков», причем происходили трагикомические случаи. Был у нас на участке пекарь (фамилию его не помню), его вызвали на светлые очи и стали устанавливать личность, а когда установили, что он - это точно он, то со смехом сказали: «Ну, долго будешь жить», - и показали справку о расстреле, и справку о приведении приговора в исполнение. Он говорил: «Глаза на лоб полезли», а то смеются - приговор отменили и составили протокол, что живой по ошибке. В условиях гаранинского произвола могли и шлепнуть для счета, если попался под руку, а могли и по запарке в живых оставить.

Весной 1939 г. была генпроверка по всему УСВИТЛу, и упорно говорили, что не хватало 10 тысяч человек по невыясненным причинам.

Летом 1939 г. на нашем участке голода не было, хлеб лежал в столовой на столах, это происходило благодаря вмешательству нового начальника ОЛПа, заменившего Зарубайло. Еще зимой он приехал на наш участок и, придя в столовую, убедился, что кормят ужасно. В конторе он спросил Волкова, почему так выписаны продукты, а тот ответил, что на складе кроме ржаной муки и сливочного масла ничего нет.

К знаменитому приказу № 533 о дифференцированном питании по выработке была приложена таблица замены одного продукта другим. Например, вместо мяса, можно было выписать мясные консервы, вместо растительного масла - сливочное и т.д. Но если не было ни мяса, ни мясных консервов, то их ничем нельзя было заменить. Вот Волков и сказал; за крупу даем муку, а за мясо, овощи и т.д. ничего не даем.

Тогда новый начальник спросил, на какую сумму можно выписать продуктов, и получил справку, что на 4 р. 78 коп. (в старом исчислении). Тогда он отдал вполне логичное распоряжение - выписывайте наличных продуктов на эту сумму, не считаясь с таблицей замены, и подтвердил это распоряжение в письменном виде. Ржаная мука стоила 1 р. 19 коп. за 1 кг, следовательно, можно было выписать до 4 кг муки в день, и это означало - с припеком 6 кг хлеба. И вот в котлах стало вариться отвратительное варево - ржаные галушки, а сверху на ладонь - масло. Сытый человек это варево не ел бы, а голодные ели - «от вольного». Железный механизм питания по выработке дал перебой, так как галушек давали без нормы и люди стали поправляться. азуется, не все, несмотря на ОЛП и галушки; всю зиму была страшная смертность, и до самой весны гаранинский производил свои плоды.

Вот в кинокартине «Живые и мертвые» есть кадр, где вышедшая из окружения дивизия Серпилина стоит на митинге. Все бойцы рослые, закаленные в походе, с суровыми лицами, прошедшие и совершившие невозможное.

В 1939 г. на разводе стояли тоже такие бригады, один в один, так как все слабые вымерли, остались только самые приспособленные, озлобленные, готовые на все.

Многие фронтовики рассказывают о страшной злобе и жестокости фронтовиков-штрафников. прибывших из лагерей. Один из моих друзей очень любил вспоминать, как на их позиции прислали штрафников после трех неудачных штурмов укрепленной высоты, занятой сильным немецким гарнизоном. Штрафники потребовали убрать «лягавых», т.е. уполномоченных особого отдела, и дать ножи. Им привезли машину японских ножевых штыков, и они без артподготовки, внезапной атакой на рассвете, взяли высоту. Чтоб показать свою преданность, они отрезали немцам головы, несли их за волосы и кидали их под ноги командиру полка.

Вот после гаранинского произвола, уцелевшие были все в той или иной степени вояками и стали идеальным материалом для войны. Но на фронт они не попали, а зря, лагерную злобу можно было опрокинуть на немцев и у политических.

На фронт взяли только несколько генералов, а вся огромная масса репрессированных в 1937 году командиров так и сгнила на Колыме. Очевидно, относительное благополучие на нашем участке летом 1939 г. было локальным, местным явлением, связанным в значительной мере с личностью начальника ОЛП. Генерал Горбатов А.В., в своей очень правдивой и хорошей книге «Годы и войны», описывает свое пребывание в лагере на Колыме в том же, 1939 г., и рисует совершенно другую картину. Например, он пишет - «сметая со стола крошки и корочки, а иногда и куски хлеба в свою торбу, я в какой-то степени стал лучше утолять свой голод».

Там же Горбатов пишет, что с арестом Ежова ничего не изменилось. Он ошибался, т.к. пребыл на Колыме меньше года и не разобрался в обстановке. Он, будучи на прииске «Мальдяк», вернее на участке этого прииска, ничего не знал про знаменитый массовый расстрел, который там учинил Гаранин. К счастью, для Горбатова Колыма была эпизодом в его жизни, а для меня она стала «родным» домом и растянулась на 24 года.

Горбатов не знал Берзинской Колымы, не знал Гаранинской, и ему не с чем было сравнивать то, что он увидел. Кончилось лето 1939 года тем, что меня назначили бухгалтером участка «Дарьял». Этот участок находился ниже по течению реки Утиной и получил свое название от ключа «Дарьял», имевшего крупные и каменистые берега, в миниатюре напоминавшие Дарьяльское ущелье. В мои функции входил учет материалов и инструмента, горючего, начисление заработной платы и лагерный учет. Это была самостоятельная работа, и я ее начал «тронной речью», обращенной к подотчетным лицам. Сами вы можете брать и жрать, но если начнете отворачивать ящиками и продавать, то беспощадно оформлю по первой категории и сдам в солдаты. В переводе на человеческий язык, я санкционировал самоснабжение и запрещал хищения с целью обогащения и наживы.

Теоретически, например, зав. складом получал тощую четвертую категорию и должен был ею довольствоваться, имея в своем распоряжении склад, полный продуктов, он как бы стоял по пояс в воде, но не имел права выпить. Практически же они ели, что хотели, но списать то, что они съели, могла только бухгалтерия. Это было незаконно, но, по сравнению с торговлей, проигрыванием в карты и воровством с целью обогащения, это было «меньшее зло».

От него я не мог в той обстановке отречься, но сейчас стою перед своей совестью, перед близким концом, когда лгать уже не нужно, думаю, что много грехов снимется с меня за другое.

Когда на «Дарьяле», в тогдашних условиях немалая власть попала в мои руки, я не обратил ее для личного обогащения, а немало сделал хорошего. У Короленко есть чудный рассказ - Сон Макара. Там описана жизнь и смерть темного, забитого и нищего духом полуякута - Макара. А после смерти показан суд Божий, где соизмеряют грехи и добрые дела Макара.

Вот, если б мои грехи, обманы, подлости и прочие черные дела, соизмерить с теми лагерными пайками, что я раздал на Дарьяле, то, наверное, они бы перевесили, ибо это золотые пайки, т.к. нет ничего страшнее голода, а они несли людям жизнь. Еще на участке «Речка», бывало, подойдет какой-нибудь бывший профессор, у которого украли или отняли карточку, стоит замерзший, умирающий от голода, и просит дать новую карточку, а я, подыгрывая под бандитскую масть, кричу ему: «Работать нужно, что слюни распустил, пошел вон». А карточки лежат у Волкова в столе без учета, бери, сколько хочешь. Дневальный выгоняет такого несчастного интеллигента за двери, а я тихонько выйду и суну ему карточку - смотри, не продавай. Теперь я был хозяином и не нужно было быть бандитским прихвостнем.



Начальником Дарьяла был некто Бзаров Георгий Ильич, по национальности осетин, член партии, без образования, но с природным умом и большой и благородной душой. Он принадлежал к той категории колымских начальников, которые, не будучи гуманистами, просто хотели «выполнять план», а для этого нужно было кормить людей. Вот этот Бзаров делал такие вещи. Вызовет и говорит: «Самойлыч, ты видел какая тухлая мука на пекарне лежит, пойдди, понюхай. Разве можно людей такой мукой кормить, на конбазу свиньям, коровам давать нужно».

И я писал акт - «ввиду сильного запаха прелости, комковатости с зеленью и посторонних примесей, мука в пищу непригодна, и подлежит обращению в фуражный фонд». Бзаров утверждал, заключенный врач и я подписывали, а из муки пекарь, тот самый латышский стрелок Карл, о котором писалось выше, преспокойно пек хлеб. Бзаров писал ему записки - выдать бригаде такой-то сорок килограмм, т.е. выдавал бесплатно хлеб, который нигде не числился, для поощрения хорошо работающих бригад, т.е. преследовал свои цели. Он не знал, что я тоже пишу записки, но не лучшим производственникам, а часто худшим, т.е. своему брату интеллигенту. Клиентов было немало, Карл железно молчал, как и подобает латышу, и все были довольны. Все, кроме свиней, не полностью получивших положенное, ибо списывал я на них.

Много можно написать о Бзарове, он не терпел лагерного начальства, и вмешивался в лагерные дела, т.к., как и везде в «Дальстрое», начальник лагеря был заместителем производственного начальника. Был такой случай - начальник лагеря любил порядок, и для установления полного порядка приказал на производстве, а работало пять шахт, одна рядом с другой, смыкаясь под землей своими выработками, поставить пост и запретить всякие хождения из шахты в шахту. Это была полная чушь, т.к. механики, электрики, подсобники, несущие инструмент в кузницу, столярку и т.д., не могут не ходить по производству.

И вот на отвале, недалеко от моей конторы, стоявшей там же между шахтами, появился часовой, причем, как назло, попал татарин Шарафудзинов. Нет ничего ужаснее татарина, удмурта, комизырянина и т.д. на посту, т.к. он точно будет нести службу и ухайдакает кого угодно во славу устава караульной службы. Электриком участка был какой-то троцкист Земсков, это был высокообразованный инженер и очень организованный человек. Он выстроил себе из моховых плит теплую будку, провел сигнализацию во все шахты, и если его вызывали в какую-нибудь шахту, то загоралась красная лампочка, на двери он сделал круг из фанеры и вращающуюся стрелку и написал: шахта № 1, № 2, контора, лагерь, мехцех и т.д. Поэтому каждый знал, куда он ушел. В свободное время он сам с собой играл в шахматы. Однажды начальник лагеря сказал в моем присутствии Бзарову: «Георгий Ильич, как ты можешь смотреть на этого врага народа, он бездельник, целыми днями лежит в своей будке». И получил ответ: «Один его палец на ноге имеет больше ума, чем вся твоя голова, он лежит, а моторы работают. Поставь дурака, бегать будет, машины стоять будут, пусть лежит» .

И вот первой жертвой Шарафудзинова чуть не стал этот премудрый Земсков. Загорелась контрольная лампочка и нужно было войти в шахту № 3. Земсков вышел из будки и услышал: «Стой, стрелять буду!». «Ты что, спятил, идиот, мне в шахту». Шарафудзинов знал устав и дал предупредительный выстрел. Земскову почему-то захотелось поиграть со смертью, и он бросился за опрокинутую вагонетку, и оттуда, из за ее железного бока начал ругать Шарафудзинова. Тот открыл беглый огонь, а Земсков делал перебежки от одной вагонетки к другой, и из за каждого

укрытия ругал исполнительного татарина. Услышав стрельбу, я выскочил из конторы, и наблюдал это любопытное зрелище: пули рикошетировали от вагонеток с характерным визгом, Земсков перебежал, а Шарафудзинов стрелял. После нескольких выстрелов Земсков исчез из поля зрения, т.к. прыгнул в какой-то вентиляционный шурф, а их было много, он прекрасно знал их расположение и всю подземную географию. В этот момент зазвонил телефон: «Самойлыч, это кто стреляет на производстве?»

- Шарафудзинов стреляет в Земскова, но никак не попадет. Через минуту с горки, где был вольнонаемный поселок, показалась огромная фигура Бзарова, он шел прямо к Шарафудзинову.

- Тебя зачем здесь поставили, моих стахановцев стрелять?

- Мне начальник приказал, чтоб не было хождения, мой предупредительный выстрел давал, а он бегал и матом ругал.

Часовой, как известно, лицо неприкосновенное, так учили еще при Николае, но Бзаров не удержал свой кавказский темперамент и вдруг схватился за ствол и вырвал винтовку из рук растерявшегося Шарафудзинова. Тот сразу сник, т.к. по букве устава за разоружение на посту попал бы под суд.

Я с большим удовольствием видел финал этой сцены: уходящего Бзарова с винтовкой под мышкой и семенящего рядом, только что такого грозного Шарафудзинова, слезно просящего отдать винтовку. Обе фигуры скрылись по направлению к лагерю, и идиотский пост был снят. Запомнился и другой эпизод. Случилось ЧП: шесть заключенных, в том числе один бывший красный профессор, были посланы разбирать ворота в отработанную шахту и снять изолирующий слой моховых плит. Дело в том, что шахты проходились в вечной мерзлоте, и чтобы летом теплый воздух не попадал в выработки и не вызывал обвалов, вход в наклонную шахту закрывался воротами и изолировался целой стеной моховых плит.

Вот эти шесть человек должны были снять ворога и убрать все пригодные в дело лесоматериалы. Они поторопились и подрубили столбы ворот, в результате все стены изо мха и ворота упали на них. Случайно я был недалеко и первым прибежал на место катастрофы. Под слоем моховых плит еще были слышны стоны, я стал звать на помощь, и со всех соседних отвалов прибежали люди, лопат и ломов не хватало, и мы прямо руками растаскивали пласты мха, балки и доски. Мы работали как бешенные, понимая, что счет идет на минуты, но не успели. Погибли все, причем раздавлен был только мой знакомый, остальные просто задохлись. Они были еще теплые, и мы пытались делать искусственное дыхание, но ничего не помогло.

Их снесли на заправку у дороги и накрыли брезентом. Подошел Бзаров и обнажил голову. Рядом стоял начальник режима лагеря в фуражке. Бзаров сказал - сними.

- Не стану снимать перед врагами народа.

Я стоял сзади и я видел как багровеет шея полнокровного и толстого Бзарова.

- Сними ..., люди погибли на производстве.

И молодой дурак снял фуражку, а Бзаров стоял и молчал, стоял и прощался со своими забойщиками, бывшими для него людьми.

Я с ним работал долго, и будучи заключенным, и после освобождения. Он был примитивный и малограмотный человек, но от природы умный и добрый. Однажды я набрался храбрости и спросил его:

- Георгий Ильич, правда, что вы были в 1917 году в дикой дивизии генерала Корнилова?

- Правда, был.

- Ну, а если б железнодорожники не разобрали пути, вы стреляли бы в рабочих?

- Мой дед служил князю, мой отец служил сыну князя, а я служил внуку князя, он командовал эскадромом. Князь бы сказал - резать нужно, и я бы резал, я был темный человек.

Страшно было услышать на Колыме в 1940 году этот феодальный кодекс верности и видеть, как мог измениться человек за одно поколение. На Колыму он попал по договору, как знатный бурильщик московского метро, а у нас его сделали начальником участка и он был неплохим начальником. Конечно, не следует его идеализировать, он помогал тем, кто перевыполнял норму, он не был гуманистом, ему нужен был план. И при нем были отстающие бригады, не выполнявшие норму и голодавшие, но не было произвола, и не было самодурства и побегов. Но таких, как Бзаров, было мало, зато было много других.

Вот рядом, в одно и тоже время, т.е. в 1939-1940 гг. подвизался некто Беликов М.И. - это было чудовище. В эпоху избиения Берзинских кадров, т.е. зимой 1937-1938 гг., он чем то понравился, особенно Гаранину, и был выдвинут на должность начальника лагеря прииска «Майорыч». Происхождение его мне не известно, но вся его психология, весь моральный облик и даже внешность говорили за уголовное прошлое. На этом прииске он стяжал себе громкую славу тем, что переморил весь личный состав лагеря.

Выше я писал, что хоронить умерших зимой на Колыме дело хлопотливое, вот и он складывал покойников за складом просто навалом в кучу. Снег их заносил, но руки торчали, и вот, однажды, обходя свои владения, он не без остроумия заметил - вот троцкисты не могут успокоиться и здесь за Троцкого голосуют. Беликов, сам того не зная, подводил итог внутривластного развития действительно, эпоха фракций, платформ, голосований на съездах окончилась надолго после тридцать седьмого года стали голосовать по команде, и с тех пор дружно голосуем по сегодняшней день.

У него бывали любимые развлечения, например, приходит этап, он его выстроит на линейке, подойдет и простым даже ласковым голосом спросит - «Парикмахеры есть?» Мгновенно показывается несколько парикмахеров. Беликов выбирает одного, причем долго спрашивает, где работал, может ли делать дамские прически, перманент и т.д. Потом, он вроде задумывается, молчит, а кандидат в парикмахеры ждет ответа с замиранием сердца. После раздумья Беликов вдруг спрашивает - «А пекарем ты можешь?» И получает ответ - «Могу гражданин начальник».

Потом идет разговор о припеке, булочках, сдобах и т.д., обычно кандидат дико врет, т.к. в лагере почти все старые уголовники парикмахеры, конечно, на лагерном уровне, а пекарей уже меньше. Наконец, тема исчерпана и следует вопрос - «А поваром можешь?» - «Могу, гражданин начальник».

- Ну, ложись, сволочь, перед вахтой и лежи смирно!

Затем Беликов заходил на вахту, ему ставили бутылку спирта, и он сидел, и наблюдал, что будет делать кандидат в лагерные придурки.

На колымском морозе долго не пролежишь, начинает первым замерзать нос, т.к. только на нем ничего не надето. Нужно вынуть руку из рукавички, и потерять эту выдающуюся часть тела, это так просто и так нужно. Но Беликов видит, и сквозь шахтенную форточку стреляет из нагана так, чтобы не убить неудачного парикмахера, но чтоб пуля попала близко, и его осыпало снегом.

- Лежать, сука, застрелю, не шевелись. И забава продолжалась...

Но финал был неожиданный; весной 1938 г. приехал Гаранин, и накануне промывочного сезона убедился, что работать некому - три четверти лагеря перекочевало за сарай, а оттуда к приезду большого начальства были брошены в глубокие шурфа и лежат там и по сегодняшний день.

Гаранин так расстроился, что посадил самого Беликова и дал ему 10 лет, после этого он попал на прииск «Утиный», на участок «Речка», где как социально близкий, и имеющий административный опыт был назначен, будучи з/к, начальником шахты.

В главе «Лагерный придурок» я писал о великолепном жулике Волкове, так вот этот аферист своей туфтой вытянул из лагеря и себя и Беликова. И вновь этот подлец стал мучить людей в качестве начальника участка «Речка».

Многие страницы можно исписать описаниями его деятельности; я уже вольным приехал к нему по делу и нашел его в забое. Один заключенный подошел и стал просить отпустить в лагерь по болезни. Беликов посмотрел на него и изрек: «Лоб, на лбу 4 куба написано, а темнишь, подышать будешь, станешь ногами дрыгать, еще полкуба нагребешь, все польза государству». Зимой его любимым развлечением было т.н. выставление на производство доходяг, т.е. тех з/к, которые работать не могли. Их дневальные, нарядники и старосты грузили на конские сани, навалом, привязывали веревками, а затем эта лагерная сволочь со свистом и ревом везла живой груз в забой, где их держали до конца смены и многие замерзали.

Прошли годы, я стал главным бухгалтером Санотдела Юглага и весной 1945 года прочитал циркуляр Берии «О слишком большой смертности из-за нарушения режима». В Санотдел приехал начальник управления НКВД Буров и стал толковать о гуманизме Лаврентия Павловича, о необходимости бороться со смертностью и т.д. На столе стояла мощная закуска и литр спиртного, приходилось пить. Но когда я выпил, то сказал следующее:

- Товарищ комиссар госбезопасности, я по профессии экономист и привык анализировать цифры. Вот за прошлый месяц умерло по управлению столько-то человек, и из этого числа одна треть с прииска «Утиног», а в управлении 15 приисков, из «Утинских» покойников почти все с

участка «Речка». Короче говоря, один участок дает четверть всей смертности управления. Буров посмотрел на меня протрезвевшим взглядом и спросил:

- Анализ очень интересный, но почему там так умирают люди?

- Потому, что там руководителем Михаил Иванович Беликов, - вмешался мой начальник прииска, знавший прекрасно в чем дело.

- Как вы смотрите на этого человека?

- Как на бандита.

- А почему нет оргвыводов?

- Он выполняет государственный план.

Как я ни был пьян, но понял, что дальше нельзя, что нужно молчать, что палачу обеспечена безнаказанность, т.к. он выполнял план каждый год и «любой ценой», зная, что при первом же срыве все вспомнят.

Среди заключенных на «Дарьяле» запомнился Иосиф Гольдин, это был профессор политэкономии Толмачевской военной политической академии. Выходец из буржуазно-интеллигентской семьи, он ушел в 18 году в революцию. Был он таким комиссаром гражданской войны, как Коган у Багрицкого [7] в «Думе про Опанаса», потом учился, потом был на заграничной работе, в ИКП и т.д. Он любил и понимал Блока, бывало, вечером притащит сухую лесину, благо участок был новый и стоял прямо в тайге, печка в конторке горит, тепло, а он читает «Двенадцать» или «Соловьиный сад». От него я впервые услышал о жизни наших дипломатов в Германии, о выступлении Гитлера и т.д. Он был настоящим революционером, и, как все люди такого порядка, сильно влиял на окружающих. По древнему, еще Соловецкому обычаю, каждый з/к зимой, при возвращении в лагерь, должен был нести кусок доски, бревна, жердину, в общем, нечто пригодное для отопления, т.к. лагерь никто не снабжал дровами.

Я говорю по Соловецкому обычаю, потому, что там во время произвола десятники писали пропуск химическим карандашом на здоровенных бланках и з/к должен был тащить такой пропуск за два-три километра, иначе не пускали в лагерь и били на вахте.

Так вот, однажды этот Гольдин шел с работы и нес нетолстую жердину метра два длиной. На мосту через «Дарьял» он поскользнулся и упал, а эта жердь ударила его по руке выше локтя. Казалось бы, чепуха, но на следующий день рука стала чернеть, лекпом посмотрел и поставил диагноз - впрыснул керосин под кожу, не хочет работать. Только через сутки мне сказали, что Иосифу плохо, я пришел к нему в барак и вижу, что он весь горит, а рука черная. За лекпомом я взялся немедленно:

- Ты, что, помощник смерти, делаешь, звони на прииск и клади в больницу немедленно.

- Он симулянт, керосин впрыснул.

Дальше разговор пошел на басах, и, т.к. он меня боялся, то Гольдина в этот же день увезли в больницу. Там ему отрезали руку выше локтя, но он заболел гемофилией [8], а т.к. кровь не останавливается, то резали еще два раза и вылутили руку по плечевой сустав. Когда я пришел к

нему и принес банку сгущенного молока, он лежал белый как бумага и мог только шептать. На слова утешения он не реагировал, понимая, что пришла смерть. Помню его одухотворенное и облагороженное тенью смерти лицо, и последние слова:

- Алеша, я всегда был в первом ряду.

Он действительно прожил славную жизнь и прошел ее в первом ряду революции, а тогда, вот этот первый ряд и был на Колыме.

Когда я сидел у его койки, произошел интересный эпизод. Рядом лежал узбек, не умеющий говорить по-русски, лицо у него было восточное, и он говорил только по-узбекски со своими единомышленниками. А тут вдруг заговорил, да как! Он был в агонии, умирал, и находясь в состоянии бреда, закричал отчетливым командным голосом: - «Рота, по наступающему противнику пачками, пять патронов, огонь». Потом, было понятно, что он ругает пулеметчика, что противник близко. - «Приготовить гранаты - Кидай! - За мной в контратаку!». Эти бешеные выкрики, в которых кипела страсть боя, были последними искрами жизни. Вместе с последней командой она ушла, он вытянулся, дернулся несколько раз, и умер. Сбежавшиеся санитарки, легко больные и я видели эту смерть. Один из санитаров в порядке некролога сказал: - «Ну, силен был офицерюга!». Как мог темнить, что русского языка не знает. Действительно, нужно иметь железную волю, чтобы имитировать годами незнание родного языка. Видимо, это был белогвардеец, замаскировавшийся под темного дехканина.

Несколько слов об узбеках, их прислали к нам на прииск человек 500 или 1000 в 1939 г. Почти все они не знали русского языка, про них говорили, что это басмачи. Их послали на лесозаготовки на общих основаниях, и поставили обычных дальстроевских десятников из «бытовиков». Они не утруждали себя уточнением фамилий и писали в нарядах - «Оглы Оглы первый», «Оглы-Оглы второй.»

Бухгалтерия на основании таких нарядов выписывала карточки, от которых зависела вся жизнь заключенного, и нетрудно понять, что из этого получилось. Я на своей шкуре испытал, как можно было работать получал штрафную, а тут это было системой. За зиму они перемерзли почти все, а оставшиеся работали больше дневальными и занимались мелкой спекуляцией.

Потом, уже будучи вольным, на охоте я часто проходил через лес, где они работали, и вспомнил их, так как на кустах висели клочки ваты от рваных ватных халатов. На лагерном костре узбеки оказались ветхими и сгорали очень быстро. Такая же судьба ждала поляков в 1940 году, латышей и эстонцев в 1946-1947 гг.. Выжить могли только часть русских и украинцев.

К этому времени я отъелся, и вместо опухшего и полуживого доходяги превратился в полубандита. Мне ничего не стоило просто так, для спортивного интереса, ввязаться в драку с уголовниками в столовой, и я стал очень агрессивным и злым.

Вскоре произошел случай, после которого я попал в разряд «духовых». А произошло все так: я жил в бараке горнадзора, где были заключенные прорабы, нормировщики, зав. взрывными работами и т.д., т.е. низовая производственная администрация, в отличие от лагерной (лаг-обслуга), которая жила отдельно. Это была теплая компания, ее можно назвать черной гвардией Дальстроя НКВД. В лагерной системе была четкая грань между людьми, которые работали, и людьми, которые заставляют работать. Вот эти заставляли.

Почти все они были бандитами, а я уже писал, что бандит почти всегда - это личность, личность, но какая? У Каверина есть повесть «Семь пар нечистых», и там описывается трюм парохода с этапом заключенных и процесс захвата власти над сотнями людей и кучкой уголовников. Я уверен, что если взять и арестовать, тысячу первых появившихся человек, например, на улице Горького в г. Москве, то через неделю внутри этой массы людей власть попадет в руки уголовников, внутри уголовников в руки бандитов. Дело не в том, что они умнее или сильнее всех других - они организованы, и поэтому всегда терроризируют всех остальных.

Вот в этом бараке и жили те, которые заставляют работать: как я уже говорил, почти все они были бандитами, т.е. осужденными по статье 59з, которая гласила: «Бандитизм, т.е. организация вооруженных банд и участие в них, и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения, или отдельных граждан, остановке поездов и разрушении железнодорожных путей и иных средств связи». Текст статьи не охватывал всю многостороннюю деятельность этих джентльменов, т.к. сюда относился и грабеж банков, сберкасс, магазинов, нападение на кассиров и т.д.

Ко мне они относились хорошо, т.к. в длинные, зимние вечера я рассказывал «романы», особенно им понравилась импровизация Чаплыгинского «Стеньки Разина.» Естественно, этот роман был основой, а к ней я присоединял все, что знал об этой эпохе.

Барак представлял собой длинный сруб с печкой бочкой и столом по середине. Но стенам стояли деревянные топчаны в один ряд и так, что был проход шириной с метр между топчанами и столом. И вот, в этот барак зашел один веселый рыжий человек. Когда я на него взглянул, то все человеческое вдруг исчезло в моей душе, осталось только одно - убить, немедленно. Этот человек был тем Сашкой-десятником, из-за которого в 1938 году я попал в беглецы и фактически под расстрел, это он ударил меня кайлом, когда я, опухший полутруп, подошел к костру и сказал: «Сашка, что я тебе сделал?».

В таких случаях не говорят, а прямо делают. Я сам не помню, но потом мне рассказали, что я молча подошел к печке, взял топор, и «лыбясь», как выразился один из очевидцев, пошел на Сашку. Он понял, что это за улыбка, и хотя был выше и сильнее меня, но не пытался выбить топор, а побежал, и я стал гонять его вокруг стола. Зрителей было человека три, они подобрали ноги с прохода и наблюдали, не мешая, т.к. поняли, что я «получаю» Сашка бегал хорошо, вместо .доходяги-интеллигента, объекта безнаказанных издевательств, сзади бежала сама смерть. Раза три мы обогнули стол и печку. В дверь нужно было свернуть и открыть ее, а времени могло не хватить, но он изловчился и бросился в дверь. Я не догнал его и бросил топор в него, он пролетел над его плечом и, пробив дверь, упал снаружи.

Сашка не схватил его, а удрал, и в тот же день перевелся на другой участок. До сих пор я горжусь этим поступком, не думал тогда, сколько дадут за этого мерзавца, а хотел его убить, и убил бы, не будь он таким ловким на ногу. Значит, не все во мне умерло, видно, голос и кровь предков толкнули меня на этот поступок, значит, осталась хоть часть человеческого достоинства и чести. А убил бы, мне дали бы 8-10 лет, и стал бы я лагерным волком.

Люди моего поколения прожили всю жизнь среди ненаказанных палачей, провокаторов, погубивших сотни людей, и делали вид, что все забыто. Недавно я узнал, что живет и здоровствует человек, оговоривший Бабеля. Когда началась эпоха реабилитаций, то узнали фамилию автора доноса, он был членом союза писателей, с ним перестали разговаривать, даже исключили из союза писателей, а потом снова забыли, и сейчас все у него в порядке. Может быть, не нужно было с топором бегать и рубить эту сволочь!

Непосредственным результатом этого случая было изменение отношения ко мне - стали бояться и даже уважать. Вот, мол, это псих - духовой, т.е. человек, который может убить, а потом, на том свете, жалуйся кому хочешь. И я поднялся в глазах окружающих, - а вдруг тяпнет топором или прирежет! Для московского интеллигента это была карьера. Когда я освободился из лагеря, я зашел к одному семейному человеку, у которого было четверо маленьких детей. Я очень долго не видел детей, не видел нормальной семьи, и захотел приласкать пятилетнего мальчишку, а он заревел и убежал в другую комнату.

На вопрос, почему мальчик заплакал, отец сказал - ты извини, Алексей, но глаза у тебя нехорошие, не может ребенок их вытерпеть, боится. Видно хорош я тогда был, кипела в душе черная злоба за исковерканную жизнь, до сих пор жалею, что на фронт не взяли, там опрокинул бы ее на немцев, и был бы толк.

Забегая вперед, скажу, что когда началась война, тысячи бывших з/к, забыв все обиды, в едином порыве, подали заявления на фронт, но нас не взяли. В страшном октябре 1941 г. мы коллективно, человек десять, подали заявление в штрафной батальон, и опять не взяли. С Колымы на фронт попали считанные единицы, вроде генерала Горбатова Л.В. А ведь командного состава были тысячи, все хотели на фронт, но товарищ Сталин знал историю, и помнил, как в 1915 году по царскому манифесту многие политические заключенные попали на фронт, и что они там делали.

Сейчас мне кажется это ошибкой и величайшим нарушением самых святых традиций русского народа - в минуту величайших несчастий и нашествий, прощать всех, кто хочет защищать Родину. Даже такой злодей, как Иван Грозный, простил разбойников во время татарского налета на Москву в 1570 г.; адмирал Корнилов выпустил всех каторжников из тюрьмы в Севастополе в Крымскую войну и т.д. Так было сотни лет, а тут он побоялся, потому, что мерил на свой аршин и не понимал, как можно все забыть и простить, и, видя гибель миллионов, не думать о своем личном, потому, что оно в 1941 г. стало мелким и ненужным.

Но, вернемся к моему последнему периоду лагерной жизни. Ничего не было, жили слухами, и изредка через вольнонаемных попадали местные газеты. Но такие события, как пакт Рибентропа-Молотова, не могли не доходить до нас. Хорошо помню осенний день 1939 г., когда мы узнали о нем. Не было конца толкам, большинство осуждало этот договор. Бывшие военные считали, и не без оснований, зная соотношение сил в 1937 г., т.е. на момент своего ареста, что мы сильнее Гитлера и говорили о возможности разгрома Германии раньше, чем она наберет силу. Старые коммунисты считали договор предательством международного рабочего движения и обвиняли Сталина в разгроме Германской и Польской коммунистических партий. А я, грешный, радовался, как обыватель, и думал, успею освободиться до войны, увижу жену. Никто не верил в мир, люди были достаточно политически грамотными, чтобы понимать, что это только отсрочка, но никто не знал насколько.



Под либеральным руководством Бзарова жилось по лагерным стандартам -неплохо, и срок подходил к концу. В конторе сложилась довольно сплоченная, но достаточно пестрая группа, состоявшая из моего близкого друга А. Назарова, кубанского казака Омелько, бывшего белогвардейца Озерова и одессита по прозвищу Вельзевул. У каждого была своя лагерная биография и свое лицо.

Назаров был студентом в Киевской киностудии и учеником П. Вершигоры, затем попал в армию и стал лихим танкистом. Однажды в доме Красной Армии он имел несчастье играть в нетрезвом виде на бильярде с уполномоченным особого отдела и, уточняя ситуацию, треснул его кием по лысине. Бить таких товарищей не полагалось, и дали ему четыре года за хулиганство, отбывал он срок на Воркуте, в какой-то проектной организации, получал, как бытовик, зачеты и давным-давно бы освободился. Но настал грозный 1937 г., у уполномоченного, видимо, болела шишка на голове, он состряпал дело о распространении антисоветских разговоров, и Назарову дали второй срок, уже 10 лет, и самое страшное, по ст. 58-10, т.е. за контрреволюционную агитацию. Он всю жизнь горевал о содеянном, считая, что нужно было вынуть пистолет и трахнуть этого деятеля с почерка. Тогда было бы за что сидеть, да и в 1936 г. могли дать бытовое убийство на почве пьянки. Но ведь людям неведома их судьба.

Омелько тоже был из липовых политических, т.к. сидел за халатность, которая выразилась в недоносительстве на рассказывание анекдотов. Это был классический случай, повторявшийся в тысячах вариантов, - сидели у приятеля, рассказывали анекдоты и разошлись, один побежал к уполномоченному сразу, а другие проявили халатность и не спешили - в результате тоже статья 58-10. Это были случайные песчинки, которые унес ураган 1937 года.

Вот Озеров был контрик чистой воды, бывший гусар, участник первой мировой и гражданской войн.

Вельзевул был просто жулик-растратчик, но тоже растратчик 1937 г. В городе Одессе на каком-то небольшом предприятии он был директором, и видит, берут директоров под метелку за вредительство и саботаж и прогул, контрреволюцию. Логика он не учил, но все-таки составил большую и малую: « Я директор», «Директоров ночью куда-то увозят», «Увезут и меня». И он решил предвосхитить события с одесским юмором. Он взял аванс на командировку в размере двухнедельной оплаты и никуда не поехал и денег не возвращал. Когда главный бухгалтер потребовал отчет, то получил ответ: «Расхитил, пропил, денег нет». В тресте он повторил и подтвердил это в письменном виде. Всем надоело с ним возиться, и дело передали в суд, а там он так задел самолюбие народного судьи, что тот влил ему три года за использование в корыстных целях служебного положения. А ему только этого и было нужно, он прочно избавился от вредительства, саботажа, антисоветских разговоров и всей пятьдесят восьмой статьи со всеми четырнадцатью подпунктами. Он говорил, лучше быть небольшим растратчиком, чем большим дураком.

Контора была прямо на производстве и состояла из рубленого домика из двух или трех комнат. Однажды в бухгалтерию вошел молодой, красивый парень, но явно блатного вида. К нам, вернее ко мне, он обратился в духе того времени

- Что, иуды троцкистские, очки понадевали, в конторе засели, и т.д.

Я подал команду - хлопцы, вынести его на кулаках, - вскочил на стол и прыгнул на этого нахала. Он, не ожидая такой прыти, упал, началась драка, ему хорошо дали и вышвырнули вон. Он разбил окно камнем и ушел. На следующий день он появился вновь и с порога заявил: «Я думал тут сволочь сидит, а вы люди».

Я не мог удержаться от хохота, а он представился - Сашка Батурич, прораб по образованию.

По существу, это помощник участкового геолога, на обязанности которого лежит текущее опробование россыпи с тем, чтобы не разрабатывать пустой породы. Ему подчинялось человек 10 опробовщиков с лотками, бравшими пробы в забоях и определявшими содержание золота.

Результаты заносились в журнал, золото сдавалось ему, а он обязан был раз в сутки сдавать его в золотую кассу. Был он уголовником-романтиком, когда я по памяти прочитал ему «Капитанов» Гумилева, то он обезумел от восторга. Особенно ему нравились:

...или, бунт на борту обнаружив,  
из-за пояса рвет пистолет,  
так, что сыпется золото с кружев,  
с розоватых брабантских манжет...

(Цитирую по памяти).

Достаточно было прочитать ему любые стихи, и он их схватывал сразу, особенно любил Багрицкого, некоторые вещи Гейне и Лермонтова. Он занял комнату рядом со мной, и через некоторое время я заметил, что по ночам там собираются люди, причем приезжие с дальних приисков, и идет большая картежная игра.

К этому времени я научился молчать и не «продавать» ни случайно, ни сознательно. Батурич оказался т.н. честным вором, или вором в законе, и вдруг...

Вдруг, в одно прекрасное утро он пришел ко мне весь бледный от ярости и сказал, что ночью кто-то вошел к нему в комнату и украл вчерашнюю сдачу золота (грамм 300) и старые хлопчатобумажные штаны.

Я отнесся к этому событию юмористически, золото никого не интересовало, а штаны не стоили ничего.

Но, оказывается, был важен принцип. «У меня, у вора, да я зарежу, найду суку - и зарежу» и т.д. Короче говоря, страдала воровская честь, проклятия и угрозы сыпались градом и бешенству не было предела. Вечером пришли большие воры и долго думали, но ничего не придумали. Я стал забывать об этом происшествии, но случайно отодвинув свой стол, увидел злополучные штаны, развернул их - а там оказалось золото.

Немедленно я позвал Батурича и отдал ему находку.

Смеяться я перестал, а вдруг подложили. Подложили и стукнули уполномоченному, это уже пахло кражей золота, - т.е. верным расстрелом. Проходя на следующий день мимо лагеря, я услышал шум, кого-то тащили в изолятор, одним словом, какой-то шухер.

Когда я пришел в контору, то оказалось, что нет Назарова, и он виноват в беспорядке.

В столовой он подошел к мастеру мехцеха Ватлину, взял с пола здоровенное полено и ударил его по голове, шапка была толстая и спасла Ватлина, но он упал, а Назаров стал бить его ногами и кричать: «Это тебе за Алексея». Финалом было водворение Назарова в шизо, а Ватлина в амбулаторию. На следующий день вечером до проверки в конторе собрался воровской трибунал в составе самых уважаемых паханов и меня как пострадавшего. Сперва спросили Назарова, почему думаешь на Ватлина?

Он ответил, что руководствовался дедуктивным методом Шерлока Холмса. Комната Батурина и контора были под замками, а штаны и золото из одной комнаты перешли в другую. Кто умеет отпирать и запирать замки? Слесаря. Кто из мехцеха ходит в контору и знает наши дела? Ватлин. Вот он и взял, Ватлин-сука, он Алексея под расстрел хотел подвести, когда я его бил, он стал признаваться.

Ватлин понял, что шутки плохи, на других слесарей нельзя было подумать, там было четыре слесаря, из них два были ленинградцы, старая гвардия Путиловского завода, все участники Октябрьской революции, брали Зимний дворец и в провокаторы не подходили. Третий был финн Ахола, бывший командир полка Красной Армии, участник гражданской войны в Финляндии, старый коммунист и, наконец, четвертый был кузнец Дерябин, подписавший приговор Николаю II в Екатеринбурге в 1918 году. Вот над такими людьми начальником был мелкий растратчик и жулик Ватлин.

На него нажали, и он раскололся. Был пьян, помню, что взял, а куда положил, не помню.

Воры его спросили:

- Вот куда ты клал, сука ласковая, не помнишь, а замки запереть ты помнил? Короче говоря, решать пришлось мне.

- Тебе, Алексей подложил, уполномоченный не успел приехать, схлопотал бы вышку.

Так говорили умудренные опытом паханы. Но факт связи Ватлина с уполномоченным был не доказан, золото пролежало под моим столом 5 дней, а уполномоченному нужно было ехать 2 часа. Ватлин просил пощады и ползал по полу, я сказал, что получать с него не буду, и прогнал с глаз долой. Он в благодарность за мое мягкосердие сделал мне чудный нож с эбонитовой черной ручкой, на которой были инкрустации из медных гвоздиков и были выложены даты моего пребывания в лагере. Года не прошло, как неопытный судья раскрыл на судебном заседании сотрудничество Ватлина, огласив его заявление по одному уголовному делу. Вскоре наступила расплата - Ватлин ремонтировал барабан шахтной лебедки и пустил ее в ход, но кто-то подошел сзади и толкнул его под наматывающийся трос.

Ему прижало трос на левую руку и ногу и намотало на барабан, т.е. как бы четвертовало как Стеньку Разина. Пока дали задний ход, он умер, и не сказал, кто толкнул. Уголовный мир рассчитался с ним по-своему, а я по интеллигентской глупости не верил, что он провокатор.

Случай отвел от меня руку этого мерзавца, причем совершенно непонятно, зачем он это сделал, т.к. отношения у нас были самые хорошие и я ему ничем не навредил. Видимо, заставляли проявлять активность и давать, материал, и приходилось самому фабриковать «дела».

Это было осенью 1940 г., пять лет кончались, стоял вопрос, есть ли у меня второй срок или нет. Дело в том, что для лиц осужденных особым совещанием НКВД практиковалась т.н. пролонгация. Она заключалась в том, что заранее, до истечения срока пребывания в лагере, оформлялось новое постановление особого совещания. Когда срок кончался, то заключенного вызывали в УРБ и объявляли об окончании срока под расписку, а потом когда человек уже чувствовал дуновение свободы, ему предъявляли новый срок. Один мой знакомый повесился в шахте на следующий день после этой пролонгации.

Меня возили в Москву в 1937 г., а вдруг дали еще пятерочку. Дачи или не дали?

Я об этом думал все время, и чем ближе подходила роковая дата - 10 ноября 1940 г., тем сильнее напрягались нервы. Вот теперь, через много лет, врач невропатолог сказал мне - у вас полностью разрушена центральная нервная система. Он не знал, когда она разрушилась, и с тех пор у меня бывают срывы, когда я делаюсь очень опасным для окружающих.

Прошли долгие годы, и в благополучном 1974 г. некий благообразный старичок плыл на туристском теплоходе по Волге. Одет он был прилично, вид был сытый и культурный, он был кандидатом наук, сотрудником Академии Наук Молдавии, короче говоря, он вполне вписывался в окружающую среду. И вдруг!

Соседом по каюте этого научного старичка был один рабочий из Подмосковья, неплохой парень, но алкоголик. От Москвы до Куйбышева он пил спирт с пивом, а в Куйбышеве родственники принесли еще литр чистого, и вдобавок он привел даму в каюту, где отдыхал почтенный ученый.

Но в миг произошло очень странное превращение, мирно спавший старичок вскочил и заорал каким-то чужим и страшным голосом:

- Вон, проститутка!

Когда дама встала с ложа любви, он толкнул ее в шею к двери и ударил ногой ниже спины. Потом схватил своего соседа левой рукой за горло, а правой бутылку и тем же бандитским, страшным голосом спросил:

-Ты что, кусок педераста, думаешь, я очень интеллигентный? Ты думаешь, я жаловаться в местком пойду, я сейчас трахну по твоей пустой башке, две недели стекла вынимать будешь.

Сосед струсил:

- Да что Вы, дядя Алеша, я думал. Вы спите,

- Прибраться какоту, вымыть пол, проветрить, и чтоб был полный порядок, приду через 30 минут.

На следующий день алкоголик сказал своему другу: - «Этот старик страшный человек, в морской пехоте служил, разведчик, я такого мата сроду не слышал, психанет и убьет, с ним нужно осторожно».

Так из далекого прошлого, сквозь облик научного работника вдруг проглянуло колымским ветерком. А наивный парень не понял, откуда тянет.

За мою жизнь таких случаев было несколько, вдруг сорвусь и пойду на прямую, но по счастью, два раза рука друга останавливала и спасала от убийства.

Но вернемся к осени 1940 года. Трудно представить себе тогдашнюю степень оторванности и изолированности. Как я уже писал, ни газет, ни радио, ни кино, ничего не было, жили одними слухами, а единственный источник информации - новые этапы, быстро уменьшался.

Шел второй год войны в Европе, и кроме Колымы было куда девать рабочую силу, да и после массовой «вербовки» 1935-1938 гг. наступил некоторый интервал.

Мы жили в микромире, который ограничивался нашим отдаленным «Дарьялом» и прииском «Утиный». Мы инстинктивно понимали, что наша Родина накануне грандиозных событий, но в политической обстановке разбирались очень плохо.

Я больше всего хотел освободиться и вызвать жену из ссылки на Колыму, т.к. понимал, что на «материке» мне делать нечего, и я смогу на воле прожить только до очередной компании. Но освободят или нет?

И вот настал день, прошли проклятые пять лет, десятого ноября не вызвали, прошли одиннадцатое, двенадцатое и только тринадцатого прибыла телефонограмма. Двадцать два километра до прииска я прошел за три часа, шел налегке в одной телогрейке, а мороз уже был под пятьдесят.

Пришел в УРЧ, там дают расписаться об окончании срока, и все ... и пролонгации нет, идете на вольный поселок.

Я вышел как в тумане и первый, кто меня встретил и поздравил, был Аркадий Добровольский . Это был большой умница, красавец, интеллект которого поднимается над общим уровнем, человек необыкновенной судьбы, просидевший в лагерях три срока. В последующей моей жизни он играл большую роль, но тогда мне было мало знаком. Он обнял меня и сказал:

- Алексей, сегодня из маленькой зоны ты переходишь в большую.

Это была горькая правда, но большая тюрьма была очень большой и места в ней было много.

Заскрипели на морозе и закрылись за мной навсегда ворота лагеря, те самые, через которые полуживым доходягой в 1938 г. столько раз я проходил на ра боту, те самые, где с водопроводной трубой стоял Яшка Теренин и отсчитывал первая, вторая...

Закрылись навсегда, и впереди была новая жизнь, жизнь очень паскудная, но все же не совсем рабская.

Всю дорогу до «Дарьяла» я почти бежал и повторял строку из баллады о Василии Шибанове А.К. Толстого - «и князь доскакал. Под литовским шатром опальный сидит воевода...», и счастье распирало мою грудь и туманило мою голову.

Я не знал, что вся эта новая жизнь будет в течение шестнадцати лет цепью унижений, что только через долгие годы я увижу свою жену, что и блокадных рвах Ленинграда окажутся мой брат и мать, и я их никогда не увижу, что я все равно буду отверженным, что даже в штрафной батальон меня не возьмут.

Я этого не знал, и как пес, оборвавший цепь, бежал, задыхаясь от счастья.

Все права на распространение и использование принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru.